

ОСОКОРЕВЫЙ КРУГ

1

Автоматные очереди били долго, и была в них такая беспощадная деловитость, что стало ясно: тем, кто остался в лесу, в Крутом логу, оттуда уже не выбраться.

— Никого не пожалеют! — сказала мать.

И, глядя на неё, плачущую, заплакал и он; объяло его чёрное, безымянное; сузился и отяжелел солнечный простор.

— Мама! Небо падает! — испугался он, смуглыми ручонками защищаясь от чёрной бездны.

И не раз его, взрослого, настигнет ослепительный и мрачный день, для войны — в ряду других, для него — единственный, но выхватить его из тьмы прошедшего, воскресить кистью ему так и не удастся.

Или отчаянные его попытки тщетны? Да, жёлтое поле. Да, синее небо. Он смешивал краски, полевая даль становилась золотистой, янтарной, шафранной. И что ж? Цвет кричал и... молчал! Он смешивал краски, небесная высь голубела, синела, зеленела, обретая бирюзовые, пепельные, опаловые оттенки, но... рисованные небо и поле были — непомнящие. Красками ли передать горе беженцев, леденящий гул расстрела и ощущение того чёрного, безымянного и своей безымянностью ужасного, что простёрлось тогда над ним?

2

Надвигался дождь. Впереди — столпотворение. Не видать ни понтона, ни реки: машины заполонили бульжниковую дорожку, рытвинные обочины, придорожные лозняки.

Алексей Иванович Лукьянов остановил «Жигули», размял

занемевшие руки — слегка «побоксировал». Машин около переправы — колесо к колесу. Под придорожной дуплистой вербой на разостланном оранжевом тенте четверо резались в карты, устроясь удобно и основательно, словно остужая пыл спешаших. «Догнал самого себя!» — подсадовал Лукьянов. Он направился к домику Глота-понтонщика.

На спуске к реке Глота взяла в кольцо дюжина нетерпеливцев. Тот с полковничьей неприступностью отсекал нападки, повторяя: «Ждём катер! Делегация! Немецкие гости!»

Круг волновался. Долговязый заджинсованный малый, с ног до головы в импортном — сухой и острый вырвигвоздь, — потрясал красными корочками. Кто-то советовал сложиться по рублю и кинуть понтонщику на весёлый чай, кто-то грозился искупать его в Дону, кто-то, смеясь, предлагал искупать и понтонщика, и делегацию.

А дождь уже накрапывал не частыми, но крупными каплями. И чувствовалось, вот-вот обломится потопно. Тяжёлая туча, вычернив западный горизонт, разрасталась, погружая всё окрест в недобрые сумерки.

Лукьянов нервничал: пятнадцать километров по буграм, по чернозёму — не сто пятьдесят асфальтовых. Попробовать самому упрости земляка? Глот когда-то жил в Поляне и даже на одной улице с Лукьяновыми, хотя... Давно уже землячок припаял свою судьбу к щедрому донскому берегу у переправы. Но тут понтонщик, одолённый то ли сокрушающими угрозами, то ли увещевающими рублями, крикнул моториста; тот живо, как чудо-юдо из старинной сказки, возник на допотопном катерке и с завидной расторопностью сомкнул понтонные ветви в единый железный пояс.

Вереница машин густо устремила на правый берег. И как только Лукьянов выехал на крутое побережье, разразился дождь — какое дождь? — косохлёт, ливень... света белого не видать. По булыжнику не разгонишься. Он верных четверть часа потерял, пока вырулил на грунтовку.

Впереди придорожной целиной вышагивал путник. По замедленному шагу, слегка сутулой фигуре угадывался человек пожилой.

Однажды, ещё в студенческие дни, торопился Алексей к занемогшей матери, оставался последний просёлок, хоть и недалеко, а быстрой себя не побежишь. Мимо три легковые пронеслись, ни одна не остановилась. Владельцев легковых он с той поры невлюбил, а себе сказал: будет у него машина — пешего на дороге не бросит.

Путник не поднял руки, да Лукьянов знал: здесь охотнее дают, чем просят, легче одалживают, нежели берут в долг. Машина догнала пешего на самой ямине и, боясь застрять, проскочила, остановилась на ближнем пригорке. Незнакомец —

на первый взгляд ему было лет семьдесят — поровнялся с «Жигулями», кивнул. С его полушубка, столь неуместного для поздней весны, стекала вода. Однако сесть в машину он отказался: «Спасибо, сын! Эти костыли, — усмехнулся, глядя на ноги, — поисходили дорог... Куда твои колёса! Надежней! — И пообещал: — Догоню!»

За логом, на придонской меловой грядке, на целинном бездорожье Лукьянов неожиданно попал в овражек. Пока буксовал до сизого дыма на шинах, пока кидал ветки под колёса, старик догнал. Вдвоём выдернули машину из овражка. Отдыхая, молча прислушивались к шуму дождя за стёклами. Старик не посоветовал ехать дальше. Лучше, сказал, переждать дождь и добираться пешком, а машину оставить на круче: здесь не город, безлюдница, лихого не сделают. Лукьянов и сам понимал, что близкий путь колёсами вряд ли осилить.

Въехали на самый гребень кручи. Открывалась теперь не только западная — полевая — ширь, но и восточная — задонская. Пепельно-мокрые окоёмы дымились дождём. На задонской стороне Городок, обязанный своим возникновением петровскому державному неугомону, в солнечную погоду чётко видимый с Монастырской горы, был смутно различим. Дома и кроны деревьев едва угадывались. Серыми массами проступали очертания колокольни да куполообразные крыши старинных зданий.

По правобережной гряде круч тянулись лески, лесозащитные полосы, такие близкие (в детстве он сажал там свои деревца), такие беззащитные под дождём. За посадками — родная слобода, её не видать; в дождливый день вообще мало чего увидишь и всё настолько серое, что и не глядеть бы!

По привычке — как художник — он подумал о том, сколь разно действует свет на человеческое сердце: если бы солнце да под солнцем радостные потоки кипенно-белых вишнёвых крон, юной зелени, голубого неба, всё воспринималось бы иначе. А то весна как осень. Осень жизни, а? Хотя рано ещё так думать в свои сорок.

Сыпкий промозглый дождь, в стеклярусной его завесе реет невидимый закат, и надо торопиться. Будь закат лимонным (хотя откуда в среднерусской полосе взяться лимонному закату?)... Говорят, японец находит в созерцании утренней и вечерней Фудзиямы всё новые оттенки, полутона — он насчитывает их сотни. А тут семь цветов спектра... Японец ни при чём, подумал Лукьянов; полевая даль под серым дождём или под алым солнцем — это твоя даль, твоя родина; найди в ней любимые цветы и дай ей любимые цвета!

В конце концов, в красках ли дело? Взгляни: дремлющий попутчик — судьба, сотрясённая страстями, радостями и бедами, в незнакомце — вселенная; а даже имени его не знаешь.

Старик не дремал, но, видать, пригрелся, и ему было хорошо, точнее, покойно; ибо может ли быть хорошо человеку, над которым необратимо тяготеет груз семидесяти, или сколько их, лет? Художник, словно пытаясь враз и всё узнать о попутчике, долгим пристальным взглядом оглядел его, и тот почувствовал.

— Дождь слабнет. Пойдём, пожалуй, а? Тут до Поляны недалеко. Не в тягость, ежели вдвоём. Не спросил: чей же будешь?

— Лукьянов...

Старик вскинулся, будто услышанное невесть что для него значило, будто связывало давнее утреннее его солнце и вечерний этот дождь. Спросил, уже догадываясь:

— Младший? Лёшка? Алексей? Сколько же мы не виделись, Алексей Иванович? После того, как дочь моя укатила в дальние края, и меня годами забрасывало на подворья дальних родственников. Да, видать, милей родных ракич ничего не нашёл. Ольгу-то Меловатскую не забыл?

— Ольгу? Меловатскую? — Лукьянов кинул мимолётный взгляд на руки старика, досадуя на свою невнимательность; только теперь ему бросилась в глаза знакомая с детства иссиня-красная правая рука — без трёх пальцев; лицо — так оно состарилось — ничем, разве строгими тёмными глазами, не выдавало прежнего Степана Егоровича Меловатского, Ольгиного отца, но эта покалеченная рука... Он не ответил на вопрос, а сказал:

— Простите, не узнал я вас, Степан Егорович. Не обижайтесь. Вы так изменились!

— Как не измениться? Жизнь, как наш Дон, утекает. И я изменился, и всё вокруг изменилось... — Стариковская память, чувствовалось, влекла Меловатского на исповедь. — Вот Монастырская гора... только и осталось, что название. А прежде густые звоны гудели. Здешний монастырь, Александро-Невский, был самый высокий по округе. Мой дед строил. А я ломал. А нынче стар что мох. Шатаюсь, как медведь-шатун. Бедами полон мешок за плечами.

«И монастырь — одно воспоминание, — подумал Лукьянов, — и родная Поляна как уменьшилась! Хаты, что ещё теплят жизнь, много ли скажут про пережитое? Оккупация, огонь, расстрел... Всё забывается, даже страдание. Вот и Меловатского — надо же! — не узнал. Ольгиного отца не узнал! Оля... Ольга Степановна... приедет ли на поминный день?»

3

На седьмой день нашествия оккупанты (по большей части — мадьяры) расстреляли слободских стариков.

К тому времени мало кто оставался в Поляне: здесь легла фронтальная полоса. Меж левым и правым донским берегами шла

перестрелка, горели хаты. И люди, прихватив живность, стронулись с подворий, перед тем упрятав, зарыв в садах и огородах швейные машинки, велосипеды, сундуки с материями; далеко уходить не стали, развели робкие костерки в ближнем лесу, в Крутом логу, надеясь — не век же вековать?

А старики, из упрямых домоседов, оставить свои дворы отказались наотрез. Мол, чего в лесу обретаться? В партизаны негожи, на партизан не похожи. А смерть хоть в слободе, хоть в лесу найдёт.

Нашественники заподозрили, что пожилые остались неспроста — для связи с левым берегом. Комендант велел всем собраться у церкви и на вполне понятном русском потребовал объяснить, каким образом приотставшие от своих частей окруженцы перебираются через Дон. Сухотелый, с причудливо оттопыренными ушами, словно столб с телеграфными чашами, комендант поднял указательный с остро взблеснувшим перстнем палец, грозя — словно являя перст самой судьбы.

Через полчаса к многопреклонных лет Ульяну Демидовичу Плужникову заглянул немец, который брал все эти дни козье молоко, и предупредил, что надо немедля спрятаться от скорой расправы. «Туды его, сюды его...» Своё любимое присловье старик молвил не без растерянности, длившейся, впрочем, самую малость.

Спрятался в бурьяне на границе сада, под плетнём. Вскоре на подворье заявилились два дюжих солдата, требовательно позвали хозяина. Заглянули в дом, в сарай — никого; в погреб швырнули гранату; копёшку сена истыкали штыками; в бурьян срезанная автоматной очередью шлепнулась сорока: чтоб не разносила слухи...

И не видел он, как остальных, с кем он долгие годы косил травы на слободском лугу, снова согнали к церкви.

Под вечер слободские наведались из Крутого лога домой — молодой картошки накопать, хлеба испечь, родственники — старых проведать. Пришли, а... лишь враги устраивают угрюмые свои дела: на лугу ставят «ежи», опутывают побережье колочей проволокой, в садах деловито рубят яблони, в хатах снимают двери и окна на блиндажи.

В лог возвратились понурые. Все понимали, что и лес уже не спасение. Многие двинулись дальше от дома. В логу освободились землянки, стало просторней; хотя... какой простор, когда на родной земле — как на чужбинной.

Лукьяновы не знали, как быть. Уходить — куда? И здесь — чего ждать? Борис, подросток, старший Алёшкин брат, советовал присмотреть поудобней землянку да и остаться. Но и мать, и бабушка Гордеевна — в один голос: «Не к добру!» Мол, грех занимать жилища, не по доброй воле кинутые другими. Вслед за первыми беженцами решились выбираться из Круто-

го лога и соседи Лукьяновых. Лишь Меловатский, надеясь на лучшее, увещевал их повременить, говоря, что у родного дома, на родной земле беда легче переносится. Да что толку временить, что толку ждать? Собрались скоро: первой нужды пожитки побросали на возок, его тянуть — Алёшкиной матери не привыкать; порешили, что помогать ей будет Борис, а бабушка — приглядывать за коровой Казачкой и месячной тёлкой Квиткой. А из Алёши какой помощник в неполных пять годков?

Занимался тихий июльский день. Солнце исподволь набирало высь. Они двинулись через лес вверх к дороге, которая уводила от дома.

А в лог уже скатывались чёрные мотоциклы...

Никто не заметил, как нерешительно, смятенно-разнодумно провожал Меловатский уходящих, с какой тоской глядел им вслед: взяв на руки Оленьку, малолетнюю дочь, он даже сделал несколько шагов вслед им. И остановился. В неуверенности и тревоге, какие часто предвестники беды, он постоял, затем направился в лесинник, но медленно, неохотно, будто боясь чего. А лесу не было никакого дела до человека и его горести: крепкий и свежий, он всё громче полнился птичьими голосами. Меж сильными темнолистыми деревьями попадались и белосухостойные; сушняк, взятый прелью, встрескивал и легко сламывался под ногами.

Этот ли треск палых веток, или непрерывный птичий щебет, или же, скорей всего, погружённость в тяжкое раздумье не дали Меловатскому услышать, что затевалось на взлесье.

Углубясь в чащу, он набрёл с дочерью на приовражную полянку, у края которой, образуя «седёлко», взрастала двумя стволами дикая груша. Девочке приглянулось здесь. Взберясь на прикорневую седловину, она сперва наигралась в «коняшку», затем потянулась к нижней ветке, усыпанной мелкими плодами. Дотянулась и сорвала маленькую жёсткую грушу с длинным черенком. Рядом с дичкой оголял старые корневища овраг, по дну его зеленой лавой текла трава-непролазь, сочная дикоросль, и девочка, глядя вниз, сказала: «Давай прятаться там!»

Им бы и вправду спрятаться. На взлесье, где слободские разбили нечаянный лагерь, раздалась автоматные очереди. И крики. И Меловатский, на миг оцепенев, понял: назад уже нет пути. Он хотел кинуться с ребёнком подальше в лесную глубь, но увидел, как, послав в кроны неприцельную летучую очередь, за близкими деревьями надвигались прямо на них трое. Они ещё не заметили отца и дочь, наверное, можно было бы в овраге укрыться. Но Оля перепугалась так, что забилась в его руках мелкой дрожью и расплакалась навзрыд.

Трое вышли на полянку и увидели их. Один что-то сказал

двоим, те взяли в сторону, неприцельно, короткими очередями сбивая мелкие ветви и листья. А третий направился к ним. Оля зашла в судорожном плаче. Немец подходил как-то неуверенно, опустив автомат и замедляя шаги; и, пока он подходил, Меловатский, кляня своё бессилие, напрасно и беззвучно шептал: «Если б не Оля! Если б не Оля!» Что бы он сделал, не будь рядом с ним ребёнка, он не знал, но уже было с ним так на финской: внезапная встреча в лесу с тремя... Правда, тогда крепко пригодилась граната. Меловатский, словно и сейчас ожидал взрыва, защищающе обнял Олю, так что судорогой взялась ладонь, покалеченная в краю карельских берёз.

Не доходя двух-трёх шагов, немец — странная нерешительность — остановился. Они встретились глазами. Оба рослые, оба умеющие стрелять, только автомат — у одного. Они неотрывно глядели в глаза друг другу, но Меловатскому хватило мига, чтобы почувствовать, что перед ним не завоеватель, хоть и в форме завоевателя. Вдруг немец протянул к девочке руки. Та вскинулась плакать ещё неудержимей. Он покачал головой и неожиданно улыбнулся мягкой сокрушённой улыбкой.

Придерживая чёрный автомат, наклонясь, он несколько раз повторил по-русски, растягивая «л», будто с трудом перешагивая через него: «Мал-л-ла... мал-л-ла... мала кинд!» — и ладонью, близкой к траве, показывая, сколь мала девочка. Он попытался успокоить её, найдя у себя глудку сахара и протягивая ей; но плач — ещё отчаянней; тогда он отдал сахар отцу — тот принял ватными руками, совсем не понимая, зачем берёт. Потом немец знаками объяснил, что он станет стрелять будто бы в них, но не в них. Выстрелит вверх! И пусть поторопятся уйти. Взметнулась короткая очередь, и сразу же — «Шнель!», — кинутое резко, но не зловеще.

А на взлесье стрельба шла безостановочно.

Когда всё стихло, Меловатский стал выбираться из Крутого лога — страшного уголья убитых. Он брёл через жутко смолкший лес: будто расстреляли не только людей, но и птиц и все звуки жизни. Перестав всхлипывать, молчала и Оля. Уже выйдя из леса, он увидел, что ручонка её прижата к груди и ладошка замкнута в кулак; он попросил разжать её, но ничего не получилось: ладошка была сцеплена намертво; изнутри выглядывал грушевый черенок.

Он попытался отвлечь её от недавнего, пообещав земляники. Она сказала, что хочет пить. Всего три слова, но как они трудно ей дались! «... П-п-п-пп-пить!» — произнесла она наконец и удивлённо замолчала, словно прислушалась, что с нею происходит. Напуганный отец, боясь поверить в случившееся, спросил её о чём-то пустячном, лишь бы услышать ответ. Она ответила, тяжело заикаясь.

Дождь закончился так же обрывно, как и начался. Тучи, обломаясь над Доном, тяжёлыми свинцовыми крыгами уплывали на восток; а запад, ещё недавно грозивший густой тучевой тьмой, рвано просветлел синим, чисто небесным, и эта синь ширилась поминутно.

Лукьянов и Меловатский, измокшие до нитки, шли обочинной просёлка, вдоль лесополосы, задевая ветки, беспрестанно попадая под осыпь дождевых капель. По мокрому, с высокой травой скосу идти было неудобно, каждый шаг стоил десяти при сухой погоде. «Ну и дорожка!» — сказал Лукьянов, пытаюсь ничего не значащим этим замечанием прервать долгое их молчание. Меловатский, однако, не откликнулся.

Давным-давно выдалась им иная — знойная, пыльная — дорога, от Поляны уводящая на дальний хутор, где они, родясь в нужде и скорби, пережили оккупацию и где Оленька Меловатская коротала с Алёшей Лукьяновым жестокие дни войны; а потом они возвратились в Поляну, и дружба их, взрослеющих, длилась, длилась...

Давным-давно... Что ж, года пронеслись — как века. Разве сорокалетний Лукьянов, уже с морщинами и залысинами, со следами усталости в тёмно-карих глазах, хоть чем-нибудь напоминает прежнего, доверчивого и открытого отрока? Да ничем! В глазах не то что колючесть, но какая-то насторожённость, готовность оцетиниться, словно ему всё время кто-то угрожает и приходится быть наготове. «Какие же острые розы пытался ты, хлопче, ухватить голыми руками?» — на мгновение захотелось спросить Меловатскому, но он понимал, что минутная эта недоброта как нахлынула, так и схлынет, а знал он и иные, почти отцовские чувства к тому, кто был теперь для него не больше, чем попутчик. И что ворошить прошлое, в котором Алексей прянул от Ольги, ежели и сама Ольга — давно уже отрезанный ломоть, наведывается раз в три года, всё больше посылками да открытками даёт о себе знать?

У Меловатского привычно, как всегда в дождь, ныла правая рука. Разболелось и сердце, здесь уже дождь был ни при чём.

Нехорошо было и Лукьянову, приглохшее чувство вины перед Ольгой вернулось снова.

А небо прояснилось совсем, и в свете молодого, будто вымытого дождём чистого месяца им открылась Поляна. Через яр на косогоре двугорбой глыбой вздымалась полуразбитая церковь, смуглели хаты, видимые чётко, как днём. Спустились в яр. По яру недлинной цепью тянулась подлесная улица, в иных хатах светились электрические огни, иные немо кричали тьмой, нежилые, кинутые.

У развилки расстались. Железобетонная плита через овраг... А был пахнущий солнечными соснами мосток. После клуба в предполуночный час здесь собирались, ватажилась певучая «улица». Выносили из ближней хаты стул, и одноглазый чубарь Сашка Лепычев восседал на нём у перилец, словно бы король, какой не боялся за свой трон: Сашка был любимец молодого народа; не торопясь он примерял, пробовал баян, а потом с выкриком «только для карих!» вскидывал мехи.

Кружились пары, вздрагивал настил. А под мостком Алёшка со сверстниками — им ещё не пришла пора быть на мосту — колдовали: разложив на опалубках мешочки с порохом, враз зажигали; вырываясь из расщелин меж досками, пламя высотой с ладонь, било вверх! Девчонки вскрикивали, будто обожжённые; хотя что им было в тех мгновенно гасших язычках огня — уже опалённым тысячекрат сильным пламенем первого чувства? А их мысленно и вслух наречённые, их неумелые избранники — так и войной обожжённые. Скучные, но счастливые балы послевоенной юности Сашка открывал неизменно вальсом. И неизменно — «Дунайскими волнами». Волнами, по расстоянию и названию куда более близкими, чем амурские, к волнам донским, которые плескались рядом, у близкого берега, но про которых не было музыки в ритме вальса. Понятно, не обходилось без танго и фокстрота, без польки, но начинал вальс. И завершал вальс: именно — «Вальс цветов». Бледно-розовые мальвы — отрада деревенских палисадников, да летние васильки, да осенние пунцовые георгины — где они? Нет в живых Сашки Лепычева: утонул, в половодную ночь перебираясь через овраг. А тот мосток? Три чёрные сваи — как чёрные клыки, как исполинские зубы ископаемого зверя.

Лукьянов постоял у оврага. «Что ж, — усмехнулся, — никогда не взойти солнцу с запада» — и медленно стал взбираться Чернухиной горкой. Здесь до полуночи зимой катались в детстве. Старшие, в досаде на ребячий гомон, посыпали пеплом-золой проезжую часть, но саночники и лыжники не сдавались, доставляя снег из садов, с других улиц; и носились — дух захватывало.

В конце горки начиналась его улица — Медвянка. После недавнего дождя и впрямь она была медвяная. Цвели сады, кроны высоких груш висели над терновниками недвижимыми белыми шарами. Воздух полонили соловьиные голоса. Собаки влзлаивали, но мирно, будто опасаясь потревожить год от году редяющих в Поляне людей. Лукьянов, шурша по мокрому шпурьшу — мелколистной траве-мураве, примедлил шаги у плетня, за которым, по окна в цветах и бурьяне, тулилась хатка.

Звяк калиточной щеколды бросил его в былое — как в бездонный колодец. Сбивчиво проносясь, ожили старые картины — так ветер шумит в осеннюю ночь. Мокрый куст бузины

стеклянно зазвенел, кинув капли на исцерблённый камень-припорог.

Он вошёл в сени, нащупал выключатель. Открыл дверь. Дом был пуст, тих, но будто притаённо дышал, обиженный, что покинут.

Последний раз, когда он был здесь, Борис просил привезти зелёную краску для окон; остальное, говорил, раздобудет сам. Алексей чувствовал, что брат не надеется на его помощь в ремонте дома, и постарался: привёз и краску, и два рулона толя.

Глаза его оглядывали дом внутри, ни на чём долго не останавливаясь, но всё помня. Не будь проигрывателя да телевизора, всё — старое, послевоенное. Правду сказать, не вред бы внутри и поновить да переложить печку, перестлать полы. А больше ничего не трогать. Ветходавнее? Ну и что ж... Стол — почернелый, щелястый, в скрестях ножевых отметин — на нём он резал скудный тогдашний хлеб, подбирая самые малые крохи. Диван, усадистый, как баркас, изготовлен братовыми руками, и хоть не изыск краснодеревчества, но послужил: сколько лет стоит не шатается. Почернелые коптилка из гильзы и семилинейная керосиновая лампа — начальные его светильники, в недужном, подслеповатом их свечении он постигал букварь, а позже много раз читал-перечитывал «Спартак». Оловянную, в густых оспинах ложку тоже не выбросишь; как и домотканое полотенце с красными, давно смолкшими петухами: всё равно они властно трубят из рассветных детских времён. И лучше, пожалуй, вообще ничего не выбрасывать и не переделывать: возмись переделывать — будет уже дача, а не отцовский дом. Да, печь дымит от времени и усталости, но выкладывал её Меловатский и помогал ему Борис, старший брат. К тому же на запечной стене — смех вспомнить — и он, младший, оставил следок — давно уже смытый побелками, но как бы и видимый ему рисунок. На рисунке дед Прокофий Федотович Смоленко, некогда военный комиссар, а в сорок пятом — просто старик. Сухой, прямой, подтянутый. И слепой. Неизменная поза: одна рука за спиной, другая с палкой. Неизменная одежда — френч и серые брюки, заправленные в резиновые сапоги. Таким его внук и нарисовал — углём на побелённой боковине печки. Нарисовал и испугался, подумав, что будут сранить. А бабушка Гордеевна, увидев, хитро улыбнулась, спросила внука: «Это, наверное, партизан?» А чуть позже он услышал, как она не без гордости хвалилась матери его: «Ты погляди, как Алёшка деда нарисовал! Даже заплатку на штанах прилепил!»

Была зима сорок пятого — солнечная, морозная. И обещалась долгая радостная жизнь, несмотря на то, что он уже видел людское горе, видел, как погибшие лежали долгими рядами.

Дом дышал успокоенно, всё в нем жило незримой давней связью. Завтрашний день ожидался хлопотный, и Лукьянов, чуть пообвыкнув, лёг, надеясь покрепче отдохнуть и выспаться. Но не спалось.

В простенке меж окнами горницы в отрешённом лунном свете, словно одушевлённое, томилось зеркало. Он видел его, а зеркало видело его. Как и лампа, как и скатерть с красной крестью, как и оконце, крохотное, но вбирающее звёзды, зеркало — его прошлое. В детстве он побаивался его. Ему чудилось, что зеркало подстерегает и ловит не только шаги, взмахи рук, повороты лица, но и мысли. Тёмная морёная оправка с овальными углами, травяной орнамент. Что за травы, из каких времён, из каких заморских стран? А может, никакая не заморская трава? Похоже на вьюнок, что неистребимо вьётся, оплетая окрестные поля. Загадка — само стекло с манящей и не знающей dna глубиью. Алексей, как в детские ночи, попытался затеять с зеркалом потаённый разговор. Как в детские ночи... Он вздохнул. В это зеркало он вглядывался треть века назад, по-ребячьи смутно вопрошая: кто он, что он?

5

Раздались громкие голоса. После короткой заминки в сенцах шумно распахнулась дверь. Брата Бориса Алексей узнал сразу по басовитому, чуть насмешливому голосу, а другой... Иван Крайков? Бориса друг, да и его друг, да и всей слободы друг, забубённая голова? Младший Лукьянов подал голос. Миг спустя юркий цыганковатый Крайков обнимал его с той радостью, с какой бы обнимал не в конец хмельной человек близкого родича, с которым не виделся вечность. Старший брат, — его ласка к брату таилась в сердце, выказывал он её, особенно на людях, редко, — глядя на обнимающихся, посмеивался; было отчего: Крайков — толчками вскидываемая голова, словно дерзящая кому-то невидимому, горящие, как у победителя, глаза, курносый нос — выглядел ершисто-воинственно; куда ему только надеть эту воинственность?

— Не думал нынче пить! — Бутылка меж тем извлекается из глубокого кармана пиджака. — Да какая встреча! Радость! Тарас Бульба сыну Остапу не радовался так, как я тебе! Сколько я тебя, Алёш, не видел? Три лета? Вот так! Но ничего, я теперь приплыл. Деревенский теперь. Пенсионный.

— Что, насовсем? С Надеждой?

— И насовсем, и с благоверной. А как же? Куда паровоз, туда и теплушка. Прощай, Донбасс! Столько уголька на-гора выдал — Любенчихе до двухтысячного года не сжечь. Да что Любенчихе? Всей слободой топить не перетопить! Чуть орденосцем не стал. Надька помешала: больно приглянулась началь-

нику шахты. Ему, видишь ли, шахтёрские жёны нравятся. Поукоротил его пыл. Он и не дал хорошей характеристики. А с худой характеристикой — будь ты сам Ломоносов! — орден не получишь. — Голос и глаза не без лукавства, но без всякого зла, чувствуется, что Крайкову охотливо и говорить, и слушать самого себя. — Теперь донбасский «особняк» — старшему сыну, а мы с Надькой начнём здесь картошку растить, колорадских жуков изводить. Себя отбеливать от угляка.

— Тебя отбелишь! — рассмеялся старший Лукьянов. — Сколько тебя знаю, столько ты черней ворона-крыла. Цыган цыганом. Отчего, а?

— Можно догадаться, отчего! Отец с матерью спал, а про цыганку думал, — балагуристо, в тон ему ответил друг.

Сели за стол. Хоть и понемногу выпили, а захмелел Алексей; сказалась трудная дорога. На втором тосте погас электрический свет. Борис потянулся зажечь лампу, но фитиль давным-давно забыл про керосин. Каким-то чудом керосин сохранился в каганце. Фитилёк выбросил узкий денатуратно-синий язычок, едва приосветивший стол; дальше всё очерчивалось неверно, колеблясь.

— От нашей сорокапятки? — спросил Крайков, кивнув на гильзу-каганец, и, не дав старшему Лукьянову ответить, устремился в иные дни: — Помнишь, как пальнул из сорокапятки по немцам? Так они и испугались! Да пушки что? Винтовками думали их побить. Помнишь, «юнкеры» Белую переправу летали бомбить, а мы по ним — из берданок! Чужих хотели устрашить, а самих собственные деды гоняли, как зайцев.

— Ещё бы не гонять! Какой прок был в нашем запале? А немцы играючись могли бы оставить от слободы пепелище. Тройка «юнкеров», тройка заходов... — недоговорённо сказал Борис; усталость и тоска явились в этот миг в нём, словно он пережил то, что, по счастью, не случилось.

— Помнишь, разбомбили переправу, наши отступают, оставляют повозки да и машины. Куда с ними? Без горючего не поедешь. Да хоть бы и горючее — через Дон не перелетишь. А на лугу брошенные кони, и седлать не надо, оседланные! Садись и в атаку на лозняки.

Лукьянов-младший слушал. Он зыбко, как далёкий гром, помнил приход чужих — рвущаяся нить, прерывистые вспышки картин, то чётких, то едва видимых.

Начальный день войны — и вовсе провальный, не ухваченный его сознанием и сердцем.

— О войне наша семья узнала раньше других в слободе, — принялся рассказывать старший брат, — дед Прокофий к майским праздникам смастерил приёмник, днями и ночами слушал, что на земном шаре творилось. Тогда лето легло жаркое, он в сарай перебрался, чтоб ему никто не мешал. Зайдёшь —

он, как лётчик, с наушниками. Приёмник — одно название — почти ничего не слышать! А услышал! Утром входит в дом, голос строгий: «Собирайтесь жить иначе! Война!»

Лампочка вспыхнула вновь — ярко, до рези в глазах. Крайкову, видать, не терпелось сказать своё — он держал рот полураскрыто, двигая губами, словно мысленно добавляя рассказ старшего Лукьянова; когда тот умолк, ждать не заставил.

— День тогда выдался... сплошь солнце! Я всё рвался на Дон купаться. А отец не отпускал. Мы погреб в тот день копали. После обеда заявляется Придорогин, «туды его, сюды его, куды его жизнь», он самый. Копаете? — спрашивает. Не помешает. Хоть окоп, хоть блиндаж, глядишь, сгодится. Отец ему: какой окоп? Какой блиндаж? А тот: так война ж! Германец напал. Гляжу, а руки у отца дрожат. Опомнился и сразу стал рубаху натягивать, засобирался. Он ещё в молодости знал их, в плену у бауэра терпужил.

Уйти и не сказать сыну последнего, главного слова — что может быть горше и несправедливей? — подумал Алексей. Видать, надеялся отец Крайковых посчитаться с немцами за свой плен; да обернулось так, что снова едва не угодил за их проволоку. Сгинул в припятских болотах первой же военной осенью.

— А помнишь, как они в слободе объявились? Год спустя? Я коня поил на бригадном дворе. Ни о чём худом не думал. А Тюльпан — как заржёт! Я глянул — они на горе. Роят блиндажи. Орудия вкапывают да ветками маскируют.

А в полдень, вижу, трое к дому подходят. Сестра: «Ой, мамо, они!» И кубарем — в подполье. Входит один. Зелёная форма, чёрная каска. И сбоку котелок. Ну, раз котелок — подавай млеко! А млека было в тот год! В сорок первом мало скосили луга, не до того, и трава семенами осыпалась; а новая выметнулась по грудь. А какие хлеба уродились! Рожь — человека не видать. Огороды — не знаешь, за что хвататься: густое, сочное, крупное. Огурец чуть менее тыквы, морковь бураку в ряд годилась. А в садах — пропасть вишен, яблок, груш. За садами цветёт луг. Пчёлам — раздолье.

Когда над загустевшей беседой завис неизбежный перерыв, вспомнили, что в доме есть телевизор. Чем там радуют? Несмотря на поздний час, передавали концерт. Многоволосая лохматая певица расхаживала по сцене в чёрном, похожем на хитон одеянии.

— А ты выключи. Мы сами споем! — с улыбкой предложил Алексей, не очень надеясь, что Борис поддержит.

Однако, чуть помедлив, старший брат откликнулся. У него был бас, такой же степенный и сильный, как он сам. Борис пел вполсилы, даже в треть силы. Но казалось Алексею: сколько было в Поляне сырых ненастий, горя, похоронок и сколько

было солнца, радости и надежды — всё забирал братьев голос и возвращал песней о жизни горькой, но и прекрасной, короткой, но и бессмертной.

Художник часто сожалел о том, что не умеет петь. Не сочинять, а именно петь песни, какие веками пели в его краю. Разумеется, он мог добавить своего голоса хмельной компании, подпеть поющим, но чтоб так, как старший брат — независимо и охватно — не мог.

И морозы поубавились, и кони стали редки, а песня — ещё живая.

Эй, мороз, мороз.
Не морозь меня...

Смешивались сказка и быль, падчерица, заброшенная в зимний лес, под прожигающий лютень-мороз, и дед по материнской ветви, после войны сбившийся с дороги и замерзший близ Ольгиного урочища, в версте от слободы.

Не морозь меня,
Моего коня...

...Он пытается выбраться из густейшего, с шершавыми, цепкими стеблями и листьями бурьяна, из погибельно сплетённой дикоросли. Над ним с нарастающим гудением кружит самолёт, непонятно чей; он кружит, снижается, и становится видно, что в кабине — никого! Станный самолёт предельно снижается, на миг ложится на крыло, словно показывая земле, что он — сам по себе. И эта его внечеловечность, и эта дьявольская игра эмблемами лишали Алексея ясности и воли. А кривые липкие стебли опутали, обвили его, словно мифические змеи; не вернуться, не вздохнуть. Вдруг он увидел, как железное брюхо исторгает чёрную каплю. Рядом неглубокий, в человеческий рост колодец. Туда! Бомбе в колодец не попасть. Что есть силы он напрягается и — просыпается.

Склонясь и улыбаясь, старший брат сдавливал его плечи своими медвежьей крепости руками.

— Вставай, соня! Люди уже наработались, а ты всё спишь.

— Встаю! Что за погода? Дождя нет?

— Какой дождь? Солнце — хоть убавь!

— Ты вчера из Городка? Как добрался?

— За милую душу. Подошёл к берегу, Николай Очередко на лодке скучает, по недопитой лампадке горюет. Ему бутылку — хоть до Царьграда домчит!

— Домчит, — засмеявшись, согласился младший брат. — Домчит, ежели не утопит.

— Запросто! Вчера лодка нахлебалась воды.

— Не спрашивал, он будет сегодня в слободе?

— У него один маршрут: Городок да Поляна.

Братья вышли во двор. У домашнего колодезя взбодрясь холодной водой и прогнав остатки вчерашнего застольного дурмана, они направились в дальний угол сада за зеленью к утреннему столу. Лук, петрушка, щавель — всё это давно уже здесь никем не сеялось, однако возрастало наперегонки с чернобыльником, как при добром уходе.

Сад гудел пчелиным гулом, казалось, что звуки рождали сами деревья — бело и весенне пели их кроны.

Вот она, густая шаровидная груша. Ствол её от земли до нижних веток был притоплен в терновнике, оттого она, сплошь белая, за густо цветшими бутонами прячущая сизые ветви, гляделась невесомой и плывущей, как округлое белое облако, невесть как очутившееся у самой земли.

Тогда, в мае сорок пятого, в победный по-весеннему солнечный день, это дерево казалось ему самой высокой точкой, откуда он надеялся первым увидеть идущего с войны отца — так и не вернувшегося; когда он вскарабкался вверх, почудилось: полмира перед глазами!

За садом — луг щедроцветный, густыми вспышками мерцает и жёлтое, и синее; будто прежние — кукушкин лён, чернобыльник, иван-чай! Мягкий ветерок гонит травяные волны, одиноко чернеет колодец, давно замшелый, но с водой, и по сей час пригодной к питью. «Спасительная вода Родины...» Однако, подумал художник, умерить бы высокий слог: не день и даже, бывало, не месяц жил вдалеке от «спасительной»; и всё же он не мог унять наивного своего чувства, вызванного, как ему мнилось, вновь обретаемыми согласием, родственностью со всем этим миром, который волновал его в детстве, — колодцем, лугом, косовицей. Но, взглянув на брата, будто протрезвел. Он почувствовал, что Бориса занимает совсем другое: лицо его, вообще далёкое от умиленности, было мрачно-отстранённым, с тяжёлыми складками морщин на лбу, — будто братовы невзгоды отпечатались таким образом, подумал Алексей; и, может, впервые он ясно осознал, что они давно уже вдалеке друг от друга. Давно уже разные у них судьбы. И разность не в том, что один разглядывает цветы на лугу, игру красок, а другой заботится, приспела ли пора косить.

«Два путника вышли из пункта А... — с горечью подумал художник словами бесхитростной задачи из школьного учебника, а закончил по-своему: — И разошлись дороги в разные стороны».

На лугу, у пышного ракитового куста в приболотице Борису и Алексею, верно, подумалось об одном, потому что одновременно с их уст сорвалось: «Щербань!»

Давняя ребячья забава. Через луг, мимо озера петляла после войны от Медвянки к Дону короткая дорога — две битые тропки с полоской травы-муравы меж ними; начиналась доро-

га у подворья Пантелея Лукича Щербаня, человека доброго нрава и любителя поспать. Однажды, поздним летним часом возвращаясь с Дона, братья с Крайковым и Очередко на повозке к его подворью услышали убойный храп: на повозке у плетня хозяин с пониманием дела предавался любимому занятию. Зная, что его гаубицей не разбудить, юные соседи затеяли подшутить над ним: взяли и скатили повозку вниз на луг, на сырлужье: показалось мало, кто-то предложил спящего чуть-чуть искупать в озерке; прыскающий смех, хлюпанье, скрип колёс — нипочём Щербаню, который спал, как Илья Муромец после праведной сечи. Впрочем, затейщикам пришлось и вытаскивать повозку из лещуга под неторопливое добродушное подбадривание Лукича.

Ни былого озерка, ни былой дороги. Всюду трава — как малахитовая лава. Да пышный ракивов куст. Да поодаль белый терновник.

Пчелиный гул стоял густо. Как в сорок втором...

6

Пчелиный гул, но не мягкий, умиротворяющий, праздничный, а жгучий, всполошно-злой, — так пила на пределе звенит, — впитала младенческая память Лукьянова-младшего, да ещё вражьих пришельцев в зелёном на приусадебной пасеке, да выстрелы на пасеке.

Запомнился Эрих. Прямой как аршин и с закинутой вверх головой, отчего вид его являл надменное пренебрежение ко всем, кто был пониже его. Может, и не весть какой начальник, но начальник: покрикивал на одетых в зелёное, бывших с ним рядом, желавших, как и он, полевого российского мёда. Пчёлы, понятно, не посмотрели, что Эрих начальник: для них хоть фельдфебель, хоть фельдмаршал — всё едино: вор, налётчик! А чужие и впрямь набросились на пасеку разбойниками, разорителями, — куда там медведям! — улы пинают, переворачивают, рамки с молодью далеко вокруг расшвыривают. Пчёлы взроились тьмой-тучей. Ужаленный Эрих разрядил парабеллум в ближний улей, да только его пули оказались ничто перед пчелиными жалами. Смешно было видеть, как доблестный воин вермахта улепётывал от возмущённых пчёл к спасительной сенной двери. Правда, без мёда он не остался: велел Борису принести побольше рамок в хату и здесь обрезать соты и сложить в ведро. Тот угостил как надо: принёс рамки, пчёл не стряхивая, они и устремились вновь на потного.

Отчаян был старший брат! Стоял даже под прицелом немецкого карабина; из-за дерзости своей стоял. Он уже успел научиться курить вслед за дружкой Иваном Крайковым. Обоим и надумалось иноземных сигарет испробовать, надоело сосать

доморощенный табак. Нарвали цибарку вишен, не сомневаясь: за вишни немец много сигарет даст — по пачке, а то и по две. Эрих цибарку принял и сигаретами одарил — одну на двоих! Посмеиваясь, длинным пальцем ткнул в грудь подростка, может быть, таким образом преподнося выразительное наставление: курить — здоровью вредить.

Художник, отдаваясь во власть своей памяти, треть века спустя зримо, воскрешённо увидел поединок: жёлчно улыбающийся Эрих — вытянутая рука и палец, длинный, острый, как нож, и готовый броситься на него белочубый, с потемневшим лицом подросток.

А поединок чуть не закончился бедой. Борис выбрал яйца из-под наседки и к Эриху: «Дай ещё сигарет!» Тот, видать, почувствовал подвох: долго рассматривал яйцо, крутил в руках, словно изучал, и вдруг резко разбил. Болтяк. Ещё одно разбил — и опять болтяк. Так — все семь. И с каждым разом подёргивалась нижняя синяя его губа. Последнее яйцо он отшвырнул к стенке погребницы, взглядом приказывая Борису стать у стены. Крикнул, и ему принесли карабин. Прицелился. Подросток стоял белый как стена. Пуля чиркнула мимо левого уха. Ещё раз прицелился. Пуля — мимо правого. Затем — поверх головы. Семь раз — по числу яиц. Отмахнул рукой: прочь! А сам подошёл к стене, пальцем, всё тем же длинным и острым, как нож, провёл по вдавленным метам от пуль, описав безукоризненный полукруг, нимб! Остался доволен.

Он бы целился, наверное, иначе, не играя, ежели бы знал, что тремя днями раньше подросток стрелял по нему из пушки-сорокапятки. Пушка — без замка — была оставлена при отступлении; видно, солдатам перевезти её на противоположный берег не удалось; может, и расчёт погиб, — и подростки надумали переправить её сами. Они нашли в прибрежном лозняке замок, нашли и ящик со снарядами; всего три снаряда, но и то — оружие. Допоздна ладили плот. Поутру на увязанные брёвна втащили сорокапятку и стали переправлять. Уже были за правобережной стремниной, когда на угоре появились незнакомые.

Борис знал, как стрелять. Выстрелили! Но забылись, что они на плоту, — сгрудились и миг спустя забарахтались в воде.

7

На ошкуренном тополе-выворотне в ожидании Лукьяновых коротал свой час Пантелей Лукич Щербань. Однако он даже не заметил, как вернулись братья, — низко склонясь, что-то разглядывал в подножной траве. Или что потерял? Этим вопросом и окликнул его младший из Лукьяновых. Щербань обрадованно встал, лёгкую шутку встречая ответной: мол, всё не

нужное человеку он давно уже потерял, чтоб не давило плечи и не оттягивало руки. Поздоровались. Как ни рад был старик, но поворчал: «Объявились, финисты? То ни одного, то оба сразу. Ясны соколы, дачники! Думаете, годится так, что родная хата месяцами не слышит людского голоса?» Старший Лукьянов мрачно заметил, что хата не жена: не соскучится и не загуляет, сколько ни оставляй её одну; а младший и вовсе никак не ответил, а спросил у Щербаня: «Как жизнь?» — прозвучало вполне привычно и даже участливо, но младший подсадовал: в сущности, бодряческий, пустой и досужий вопрос — вот так, стоя у калитки. Да жизни не хватит, чтоб о жизни рассказать! Старик не торопясь ответил: «Жизнь всякая. Гляжу, божьи коровки дружнее живут, чем иные люди. Какая жизнь? Прожитая. Гожусь лишь плетни подпирать. Будто кол рассохлый! Рыбы гибнут, птицы угорают от химического воздуха, а я, старый сухарь, то ли в долгожители подался?»

Щербань со сдержанной нежностью поглядывал на Лукьяновых. Его открытое грубоватое лицо с карими усмешливыми глазами, вся крепкая приземистая фигура были так близки сызмала.

Из давно-давней, потопленной временем поры тянулась, являясь взору художника, дорога, на которой он ребёнком ощутил ласковое тепло щербанёвых рук.

8

Стрельба на взлесье, — долгая стрельба, после которой слобода сиротски убавилась, — заставила живых устремиться прочь от Дона и дома.

Белёное небо палило солнцем. Золотистое поле утратило свою утреннюю свежесть. Клубилась и вздымалась пыль. Куда идти? Далеко на запад расстилалась родина, но там был враг. Куда идти? Хотя его ребячье сознание больше занимал другой вопрос: долго ли идти? Нет, он ещё не устал так, чтобы проситься на руки или чтобы не замечать окружающего; брёл, чуть приотстав от своих, видел, как сосед Щербань сменил притомившегося Бориса, помогал взволакивать возок на пологий и долгий увал. Люди — позади и впереди. Бредёт тётка Котоленко с неподъёмным мешком за плечами; ничего, подняла, не сёт; белошерстные козочки неотступно следуют за нею, блеют, друг друга задирают, взбрыкивают; им можно взбрыкивать, им мешок не тащить. У тётки Любенчихи узлы поболее её самой; сначала их волокла, затем так: пронесёт один чуть-чуть, возвращается за другим, вся потная, красная; а тётка Очередко — с двумя такими же, как он, малыши, ей не до мешков-узлов, хотя тоже в руках сумки, а за них ухватясь, привязчиво семечат Колька и Маша.

Появились велосипедисты. Ощущение почти забытое и всё же памятное: долговязый усатый немец, зычно гоня взрывные непонятные слова, усадил его на раму, и они поехали придорожьем. Сгибаясь и распрямляясь, шуршал низкорослый бурьян; слепило глаза от никеля.

Как хотелось бы Алёшке ехать сейчас с отцом, видеть перед собой крепкие отцовские руки, задыхаясь от детской радости; теперь же ему было страшно: он чувствовал горячее, потное дыхание велосипедиста, видел его рыжие волосатые руки, по ногам больно бил чёрный автомат.

А попутчицы матери пристроили свои немудрёные пожитки на возок, решив, что, чем нести на себе, сподручней впрячься в возок. Однако тот, не выдержав перегруза, хрустнул на первой колдобине. Узлы повалились в бурьян и пыль. Немцы похохатывали, проезжая мимо и видя, как женщины не дадут ладу своему скарбу. А усатый, отняв одну руку от руля, похлопал ею себя по плечу, что-то беззаботное крича, может быть, предлагая вскинуть узлы на привычные к тяжести русские спины.

Вдруг чуть в стороне от дороги из поспевающей ржи раздался выстрел. Он был негромок, так себе: хлопок и дымок, но велосипедисты спешили враз. Долговязый усатый, по-копачьи спрыгнув с велосипеда и не глядя, что с мальчиком, — Алёша на глазах Щербаня свалился в колючки, — крикнул своим что-то резкое, в одно слово. Они цепью вошли в рожь. Именно вошли — не суетясь, не пригибаясь, не боясь. Чёткость и уверенность цепи! Скоро вернулись. Впереди прихрамывал худой, по пояс обнажённый парень лет семнадцати.

— Кто знает? Партизан? — угрюмо обратился к беженцам долговязый усатый; куда девалась его весёлость!

— Да какой же он партизан? — всполошилась Гордеевна, почуяв недоброе. — Внук мой! — отчаянно воскликнула она, хотя парень никакой был ей не внук, совсем незнакомый: она кинулась спасать его, беря в родственники.

Долговязый — автомат наизготове — приказал парню следовать в рожь.

Щербань, держа Алёшу на руках, прижал его лицо к груди. Жёстко, как по железу град, зазвучали голоса велосипедистов. Они мчались в концы потока, веля передним остановиться, резко торопя задних; а собрав кучно, принялись делить на две группы. «Вэк! Вэк!» Разве, спросит он позже, дано кому-нибудь право диктовать «вэк!» — «прочь!» людям, живущим на родной земле? Однако «вэк!» И уже мать и старший брат — по одну сторону дороги, а бабушка и он — по другую. Занялся слух, что молодых и здоровых конвоируют на станцию, а оттуда в вагоны — и в Германию, а старых и малых — до первого лога...

Тут откуда ни возьмись три наших «ястребка». Сделали круг и стали снижаться; казалось, выбирают, где приземлиться. Однако, пролетев совсем близко над головами, дохнув горячим палом своих моторов, улетели за Дон.

Люди смешались. Снова их уже не стали «сортировать». Жгло так, словно солнце сорвалось со своей оси и повисло в какой-нибудь версте вверху над ними. Дорога устремилась под уклон. Идти стало легче, Алёша теперь всё время был на руках у Щербаня. Густо изрезанный морщинами, тот казался ему почти стариком, хотя ему было лишь немногим за сорок, и, не будь у него застарелой хвори, брёл бы он где-нибудь в другом потоке, среди воюющих пехотинцев. Голос у него был неторопливый, грудной, словно чуть простуженный.

9

Братья и Щербань сидели на ошкуренном длинно лежащем дереве, и старик давал волю своему настроению: «Нашим пращурам с Днепра полюбилась эта сторона. А чем нам не любя? Сколько ветрогонистых да лихих разъехалось после войны! Нынче за весь день не услышишь детского голоса. Старость да прах. А снаружи поглядишь — у многих хоромы. На всю слободу одна косяя хатёнка — у Николаевны, у Веры Николаевны Муравьёвой. Что ж ты, спрашиваю раз, в подслепой лачуге маешься? Неудобно: не чужая ты слободе. Давай перестроим тебе хату, живёшь — света не видишь. А какой, отвечает она, свет, когда Михаил ушёл в сорок первом...

Вверх и вниз по Дону плыви — такой не встретишь. Вот бы, Алексей Иванович, нарисовать её в пору молодости. Рисуешь коротковолосых, будто их за грехи трепали. А у Веры... Да чего там! Ольга Меловатская, её племянница, хороша, но... вырождается порода!»

Старик вольно или невольно кинул камни в лукьяновский огород, да сразу по трём грядкам: и насчёт уехавших, ибо в этот разряд попал и художник, и насчёт бывшей его невесты Меловатской, и насчёт его жены Иры, — всегда коротко, под мальчика, стригшейся.

Но Лукьянову ли обижаться на Щербаня?

Тем же часом они направились к сельской площади, где уже пора была начинаться поминальному ритуалу.

Медвянка густо цвела яблонями и вишнями, была белая и праздничная.

«Мой адрес — не дом и не улица...» А раз так — почему бы и не разъезжать по бел-свету за туманом? за запахом тайги? за эфиром, зефиром, кумиром... Масштаб — на большие километры и большие рубли! Куда уж бедной улице? Да не о том речь, чтобы всю жизнь держаться за неё, как за фалды отцовского

пиджака, — подумал Алексей, словно бы мысленно споря с кем-то невидимым, — разумеется, надобно двигаться, раздвигать горизонты, но сохрани ты признательную и созидательную память о родной улице, о полоске земли, на которой вырос.

Медвянка — да она же целый мир, пусть и безымянные, но выстраданные судьбы; вся жизнь их в этом: строили, растили хлеба и детишек, не щадили ни рук, ни сердца.

На стене дома Котоленко — три красные звёздочки. Три брата не вернулись с войны. Крепкий дом, в несколько комнат, живёт одинёшенька женщина, и не слышен здесь детский голос. Откуда ему взяться? Три звёздочки на стене...

На подворье Щербаня — как на строительном хоздворе: ящики, железки, длинные и короткие доски, тальниковая лоза, санные полозья, коромысла, малые бочонки и многоведёрные кадки. Художник улыбнулся. Лукич в своей жизни брался решительно за все, что требовало рук в сельском обиходе, — плотничал, столярничал, сапоги тачал, вёдра чинил, печи клал; всё мог, смел, умел. Но как? Ежели смастерит стол или стул, то часто колченогий; ежели коромысло, то тяжёлое или неудобное: случилось, несёт на нём иная Марья вёдра с водой, а потом вдруг остановится, отбросит в сердцах коромысло в бурьян и возьмёт вёдра в руки; чинённая им посуда скоро худилась, а печи, им выложенные, придымливали. Всякая нескладная, грубо изготовленная вещь, поступавшая в магазин, оценивалась слободой привычным восклицанием: «Как будто Щербань рукодельничал!» Но коль мастерил он от явной потребности кому-нибудь да помогать и от «любви к искусству», подобно тому, как человек «без голоса» неизменно порывается петь, то и на рукодельство его смотрели с понимающей снисходительной улыбкой. К тому ж невеста какой изыск, да и обходится не в рубли, — Щербань к деньгам был равнодушен и брал их за сделанное лишь по крайней нужде.

— Мастерись, Лукич? — спросил художник, кивая на подворье.

— Мастерю! Куда ж деваться, коль бог дал такие золотые руки, — шутливо похвастался Щербань. — Теперь уже немного осталось. Вон сани стоят недоделанные, склею их к зиме. Пусть на них и отвезут меня на вечный бугор. Я в зиму соберусь. Слышите, братья?

— Не нравишься ты мне сегодня, Лукич, — сказал Борис, осуждающе и внимательно глядя на старика. — Что за панихидный голос?

— Стариковское. От ночи...

Соседнее с лукьяновским — подворье Любенчихи, с улицы огороженное высоким плетнём. Тоже одинокая старуха, как и Котоленко. Только эта в войну никого не теряла, всю жизнь

вся её семья — она сама. В молодости с какой-то сектой зналась. Теперь калитка — за тремя запорами. Не любит, чтобы к ней кто приходил. А сама никого не пропустит, с утра до вечера из окна или из-за плетня глазами стрижёт. На приветствие кивает, но взгляд исподлобный, недоверчивый. «Всегда на вахте!» — досадует Алексей. Он досадует и на Любенчиху, и на себя за неприязненное к ней чувство, смутно возникшее ещё в детстве и особенно в юности; по вечерам сверстники собирались на брёвнах у двора Лукьяновых, а соседка — или движимая ненавистью к чужой молодости? — подгадывала именно тогда через плетень вытряхивать золу на проезжую часть улицы, совсем близко от молодых.

Дом Очередко сир и наг. Стены да окна... гуляй-ветер. Хата всегда открыта, заходи и — коль худой человек — бери что хочешь, только нечего взять. Дом свободен, как хозяин, а хозяин — птица вольная: изредка заглянет, подремлет на лежанке и вновь летает меж Городком и слободой в надежде на огненный стакан. А парень был — душа нараспашку. И тоже рисовал. Водка... Эх, Колька, Колька! Отец погиб в сорок третьем, мать умерла, сестра Маша... Где она сейчас? Подумав о Маше, Алексей на миг испытал невольное чувство вины: любила она его; а он? Да ведь не обнимешь двух сразу, пусть и милых. Он тогда любил другую.

Дом Погибельных — лицом к миру закрытые окна — являл, да что там являл? — молчаливо кричал именно о погибельности. Братья-лётчики нашли свою смерть в пылающем, неуправляемом бомбардировщике; мать слегла и не поднялась, отец пропал без вести в том же, что и сыновья, июне сорок второго. Отыскались какие-то родственники, приезжают на летние донские пески. А до июня — закрытые окна.

Подворье семейства Лесных — людное, в три дома. У калитки зубчатое колесо от довоенного трактора. Дед Лесных первым в слободе сел на трактор. И отец. И сыновья — тоже. Нет в округе и пяди земли, ими не паханной или не сеянной.

Двор Усталовых густо порос калачиками. Ни души, Пётр Усталов, хозяин, — ширококостный, неулыбчивый, в гимнастёрке, размашисто порванной на груди и чёрной ниткой заштопанной, — таким запомнился. Вот судьба... Три года воевал, глядя смерти в лицо, ходил в атаки — за чужие спины не прятался; был ранен и попал в госпиталь, недалёкий от родных мест; возвращаясь на фронт, решил проведать своих. Заехал, и, как увидел жену с малым Петькой, вдруг испугался — за себя ли, за них ли... Словом, остался дома; чтобы насовсем вывести себя в разряд калеченных, он ступил на итальянскую гранату, ему оторвало пальцы на ноге. Пошла молва. На бригадном собрании Котоленко, вдова, кинула ему в лицо: «Нас не обманешь!» Он поднялся и молча вышел. «Не к добру!» —

сказал Щербань и тоже вышел. Он увидел бывшего солдата на огороде, увидел, как тот выдернул из плетня кол и что было силы ударил оземь. Огненным всплеском полыхнуло гибель таящее и смерть несущее железо...

Подворье Плужниковых — широким крылом, в два дома, на один из которых Алексей надеялся так, словно в нём заключалось будущее Поляны; может, и заключалось! Ещё вконец не изжил свою жизнь два века помнящий Ульян Демидович Плужников, вечный пахарь и вечный воин, участник полусотни сражений в турецкой, японской, германской войнах. С неизменной присказкой «туды его, сюды его...» любил он в перекурах-беседах с мужиками возвращаться памятью на Шипкинский перевал, в долину роз и под Адрианополь, где не без его участия решалась когда-то судьба братьев-славян; верить ему — не раз он выручал своей храбростью и смекалкой полк, за что генерал Гурко пожаловал ему серебряный портсигар, какой он, возвращаясь через южные, весёлые и славные карманниками городки, домой, увы, довести в сохранности не сумел. Мужики посмеивались, не очень веря, но слушая с удовольствием; впрочем, то, что ему сполна досталось на войне, никто не брал под сомнение; рубцов на нём — как репёв. Так и текла-проходила его жизнь — поле брани, ржаное поле, семья. Выросли у него семь сыновей, а внуков, правнуков — считай! Правда, теперь и считать некого — поразъехались.

Лишь Андрей, самый молодой из правнуков, не кинул прадедово подворье. Закончил водительские курсы, женился на девчонке из задонского села, привёл её в новый дом; да без детского голоса и новый дом не дом! Молодой муж обещал: «Дадим слободе команду земледельцев!» Команда не команда, но жена ходила уже примедленным отяжелелым шагом. Что ж, может, в этом и таилось будущее слободы. Потому что в Поляне четыре последних года подряд — как в войну! — не рождались дети.

Дом Сычана-Катыча (Катыч было прозвище Сычана, приклеившееся к нему намертво за его тихую лютость к слободским) непримечателен в ряду других, а когда-то был первый в слободе: под шиферной крышей, с верандой, в три комнаты. Старуха Мария, сухая, в тёмном одеянии, как схимница, стоит у калитки как скорбноизваянная. В молодости настрадалась: заперев в трёхкомнатную тюрьму, муж её ни в грош не ставил, гонялся за чужими юбками. Сейчас смирёхонький старикашка, за ворота носа не кажет, а был... Одно хорошо, что чадушко его Гришка — вылитый батя! — не ухватил власти, подумал художник.

Дом напротив — жил Дрынь-лавочник. На спор язык у злой собаки откусил. А сколько он их, злых и незлых, извёл, когда сельсовет предписание насчёт приبلудных и опасных собак

получил. Все слободские пошли у него за опасных. А позже узнали, что он шапками из собачьего меха в городе промышлял. Что ж, из песни слова не выкинешь: тоже «свой».

Как, однако, жизнь всё смешивает! Рядом домик Оленьевых, семья из пяти человек, никто живой души не обидит, первому встречному, попавшему в беду, последнее отдадут, живут с благодарностью всему доброму на свете; нынче многие кинулись богатеть, беспрестанно одни вещи заменяют другими; а у Оленьевых богатство — неизменное и, может, самое верное: цветы, которые возрастают у них повсюду — и в палисаднике, и на огороде, и в саду — для душевной радости: дарят всем заходящим.

Дом под цинковой крышей — бригадиров. Теперь, когда не стало в слободе ни сельсовета, ни колхозной усадьбы, он, бригадир Ярковой, — власть!

А вот подворье — как родное. Хатёнка с хлипкими ставнями, в плену у сирени просевшая от времени погребница да жилистый вяз у калитки в сад; неунывное подворье, как и его владелец, — всю жизнь расстегай-парень. Крайков развесело сверкал в окне кипенными своими зубами и зазывал обеими руками.

10

У обелиска — серого четырёхгранника недалеко от слободской площади — уже собрался народ. Яр приглушённо гудел женскими и мужскими голосами. Были здесь и укоренённые слобожане, ни при каких невзгодах своих подворий не кинувшие, были и гости, тоже слободские, но давно в слободе не живущие, приехавшие издалека, даже с острова Сахалин, провести родной край. Чувствовалось общее настроение, когда воспоминания рождают печаль и радость; младший Лукьянов всех принимал как близких, хотя, разумеется, в детстве и юности не со всеми хлеб-соль делил; теперь все — и бывшие друзья, и бывшие недруги — «Здравствуйте!» Здесь и Очередко, и Палий, и Ярковой. Да, и Ярковой — весь на бегу, деловит, озабочен; Лукьянов видел, как он, разгребая густую человеческую волну, протиснулся к секретарю колхозного парткома Виктору Андреевичу Загуменному и, получив наказ, устремился исполнять его. Загуменный обосновался в соседнем селе, где находилась правленческая усадьба «Зари», но его корни здесь: и дед его, и отец жили в слободе; дед был неутомимый и искуснейший кузнец. Стоял у кузнечного горна и отец нынешнего секретаря, да недолго: погиб на первом году войны. Младший Загуменный секретарём стал недавно, а до этого был в «Заре» агрономом.

Загуменный увидел Лукьянова, оба приветливо вскинули руками и зашпешили навстречу друг другу, давние друзья, при-

цепщиками скоротавшие вместе не один час. Обрадованно поддёрнулись, перебрисались спрашивающими словами.

— Вот видишь, теперь и я тяжелей ручки ничего не поднимая. Язык да авторучка — главное оружие. Так что в некотором роде писатель состоялся, — пошутил Загуменный, наемкнув на памятное обоим: в бытность их прицепщиками влюблённый в молоденькую учительницу Виктор слал ей пламенные письма, в которых собственные строки для неотразимой убедительности перемежались есенинскими и какие он часто, особенно в дождливые часы, когда в поле не выехать, по нескольку раз перечитывал Алексею, на нём проверяя пламень и силу посланий.

— Слушай, товарищ писатель, а не твоего ли это сочинения лозунги укрепили мой дух в прошлый месяц? — с улыбкой спросил Лукьянов.

— Лозунги? Где?

— На Верхнем шоссе. Еду прошлый раз, вдруг: стоп! Белым по красному, аршинными буквами: «Живёшь в колхозе — борись с сорняками!» Через полкилометра: «Колорадский жук — твой главный враг!» Не успел переключить скорость — новое: «Добро пожаловать да хорошо потрудиться!»

— Нет, я ещё так не научился, — рассмеялся Загуменный. — Это соседи стараются. Впрочем, «потрудиться» скоро будем просить тебя. По твоей части. Не хочется набеговых мушкетёров с кистью звать: сделают наспех, а заломят основательно, а хочется, чтоб — с душой. Сладим?

— Или не мы вместе пахали-сеяли? — с ребячьей задорностью воскликнул Лукьянов.

— Как в жизни бывает: сеют вместе и одно, а пожинают порознь и разное, — всерьёз, с интонацией, гасящей никчёмный пыл, сказал Загуменный и снова вернулся на прежнее: — Хотелось бы, чтоб — с душой! Как твоя «Поляна в осенний день». Мне понравилось так, что даже недавно приснилась. Долго рисовал?

Секретаря уже окликали: ему полагалось открыть Час памяти, и он, взглянув на ручной циферблат, сказал:

— Ладно, поговорим позже. Хорошо, что ты её оставил в слободе. Было б, конечно, здорово, если б ты нарисовал и всё это... — Он широким движением руки повёл вокруг. — Слобода весенняя, а?

Белоцветный этот май, напор жизни в травах и кустах, серый четырёхгранник на воинской братской могиле, полусокрытый сиренью? Невиданное для Поляны людское собрание, человеческий гул, враз стихший?

Загуменный словно догадался, над чем бился Лукьянов: да, слобода в весенний день... полотно, триптих, серия гравюр... Покамест смутно виделось, но уже неотменимо жили в буду-

щей картине малыш смеющийся, яблоня цветущая и обелиск. И на притуманенно-голубом фоне вся весенняя Поляна, празднично-скорбная, чтущая, поминающая.

Лукьянов не расслышал начальные слова Загуменного. Он поймал себя на мысли, что раздвоен, что по-человечески он слит с окружающим сопереживанием и скорбью, но по-художнически, профессионально (чёрт бы побрал эту профессиональность!) он и как бы наблюдает, изучает окружающее, чуть отстранясь, размыто и остро видит обелиск и за ним белую крону и чёрные платки женщин.

Стоя на пяточке-пригорке у обелиска, Загуменный, построжавший лицом и голосом, говорил медленно и негромко; он говорил без бумажки, ставшей почти обязательной в руках выступающих, с той задушевностью, когда человек до конца искренен; говорил о том, что Поляна суровой связью связана со всей страной, потому что под обелиском схоронены воины Отчизны, из многих её областей; а полянских, с войны не вернувшихся, приняла на вечный покой широкая русская земля, и не только она, а и польская, болгарская, немецкая. В мире многое забывается, но пусть — не это!

Обелиск на воинской могиле был предельно прост: серый, из листового железа четырёхгранник в человеческий рост. Художник часто бывал здесь, и всякий раз, захваченный разноречивыми мыслями и чувствами, возвращался к одному: есть ли, исключая природный закон продолжения живых, нравственное оправдание физическому и душевному легкожитию, коль в мире есть братская могила?

Тысячная, миллионная в неисходимом ряду других, она — странная участь — находилась не на кладбище, не на сельской площади; зимой сорок третьего мороз каменно сковал землю; не поддавшийся лому кладбищенский грунт попытались рвать толком, но лишь снег разлетался, как белый осколочный прах, а земля не далась стать братской могилой. И тогда погибших свезли на огород молодой вдовы Муравьёвой — здесь летом сброшенная бомба прорубила глубокую воронку; их свезли на санках — как на лафетах.

И легли они густыми рядами.

Но на обелиске фамилий было мало. Десять строк — неровными буквами, чёрным по серому.

Всякий раз при виде строк на ржавой грани художник думал о том, сколь бросается в глаза своей недоверщённостью поминный список — как-то наспех, с датами рождения и без них, с упоминанием их отчизн и без них; и эта небрежность, что ли, рождала невольное недоверие. Ещё более цеплял список — был обманчиво короток. Разве могли дать представление о том, что происходило здесь, десять процарапанных на жести фамилий? Брат Борис вывез с мёрзлых полей семьдесят

наших погибших, а подбирал он не один. Да и многих, в метельный январь погибших на острове, занесённых снегом и потому вовремя не обнаруженных, в половодье прибило к берегу — они тоже здесь.

Давно уже он мерил, каким в завершённости быть обелиску, чтобы никто не был ущемлён из двухсот, что там, под ним... Хотя, возражая себе, не раз думал о том, что двести уже уравнены и породнены одной участью; выстаивая здесь, он думал, что обелиск, так или иначе устроенный, пройдёт время, может, и вовсе не сохранится; а может, мир прорастёт новыми, новыми, новыми обелисками... Не возрасти этот жестокий сад на его земле!

Памяти дано жить и вне обелиска. Вне слова и краски. Тысячи книг, полотен, песен подтверждают нашу память, думал он, но ничего, никакая самая искренняя и пронзительная книга не поднимет никого **оттуда**.

Неподалёку от обелиска за огородной межей в сторону выгона угрюмым бивнем вздымался прикорневой столп тополя, исполинской косою молнии вполовину срезанного и спалённого. Лукьянов давно ли видел его во всём величии — высоким, живым, с могучими, бугристыми корнями, взломавшими грунт, далеко уходившими вглубь, чтоб питать дерево благодатными соками земли. Теперь же обугленный корнествол иногда казался художнику недобрым предвестником коловратной, немилосердной судьбы его рода, его села, его отечества. Обугленный корнествол был для него словно бы вселенским образом, небесным напоминанием о конечности всего земного, предупредительным обелиском грядущему миру, который однажды из ослепительного технократического сияния низринется в праприродный мрак. Образ такого будущего он никогда не хотел рисовать, и вовсе не из суеверного чувства приблизить неотвратимое.

Художник видел знакомые и незнакомые обращённые к обелиску лица, слышал созвучное дыхание живых и думал о том, что через час они разойдутся, у каждого найдётся своё занятие, и истает, уйдёт вызванное памятью и ритуальным поминовением душевное чувство, здесь столь явственное. Хотя нет, не каждому дастся «освобождение», и только ли с Муравьёвой, с Верой Николаевной останется её память, её неизбежное? Он видел её с чуть склонённой головой, покрытой чёрным платком, держащей в опущенной руке пунцовые воронцы — степные пионы; яблонева ветка касалась её головы, соцветиями слегка закрывая лоб, высокий и морщинистый. «Стареет! — подумал он. — Такая гордая красота — что осталось от неё?» Он хотел возразить своему ощущению и не мог.

Он помнил её молодой — с тонкой, будто бы и не деревенской статью, с прекрасным, но временами как бы застылым лицом, с долгими карими глазами. В детстве, когда он часто бывал у неё — Олиной тётки, родной сестры её отца, — было для них счастьем чувствовать взгляд её глаз, ласковых, чуть вопрошающих. И — запомнил он. Часто её глаза останавливались на одной точке, медленно наполняясь слезами. Точка находилась в простенке меж малыми, оконцами: в тёмный квадрат деревянной рамки был заключён её муж — рядовой, боец, красноармеец — Михаил Муравьёв, снятый в военном. Всегда у портрета покоилась осокоревая ветвь, по зиме сухие листья цепко за неё держались, и глядеть на них было неудобно: неживые, точно посыпанные металлической пылью. Что-то взрослое рождалось тогда в детской душе; было только непонятно, почему — осокоревая ветка, а не цветы, как водится. Но спросить Алёша стеснялся. Не скажи ему позже Оля, он бы и не узнал.

...А осокоревая ветвь являлась нитью к живому Михаилу. За год до войны они, полюбив, ежевечерне встречались на речной излучке, в Осокоревом круге; Миша всякий раз поджидал Веру, прислонясь к стволу спиной, обхватив его руками; и, завидев свою наречённую, всякий раз чуть бледнел, будто боясь на глазах потерять, но грубовато отшучивался: «Даже осокорь горяч от моих рук, попробуй!» — и брал её пылающие руки в свои, подносил к прохладному дереву...

И долго после его гибели, всякий раз, когда она приходила в Осокоревый круг и украдкой, обессиленно прижималась к осокорю, чудилось ей, как холодное дерево медленно, изглубока оттаивало, тихо отдавая ей сокровенное тепло, оставленное его горячими руками.

Ещё любила она вальс «На сопках Маньчжурии», и мальчик, всем сердцем пленясь им, не мог себе, однако, объяснить, почему единственная из многих пластинок никогда не снимается с патефонного диска, почему её лишь слушает тётка Вера, отирая слезу; не знал он, что вальс познакомил и соединил двоих; не знал он и того, что патефон был первым подарком суженого своей невесте — поступок, что и говорить, на строгий крестьянский взгляд, незначительный, несерьёзный: за такую цену можно было ткани понакупить!

И, конечно же, никогда не видел, не слышал, не знал он, как неутешными ночами выплакивала свои глаза молоденькая вдова, как шептала и сетовала из ночи в ночь: «Миша! Миша! Был бы ребёнок — что мне ещё? Растила б его, доглядывала, глаз не спускала».

Ничего этого Алёша Лукьянов не знал, но с детства она была для него как нечаянная радость; и всегда хотелось ему огра-

дить её от гореслёзной послевоенной жизни, холода, исчерняющего солнца, чтоб она оставалась всегда молодой.

И, может, ещё с детства занялось в нём мерцающее, неосознанное желание нарисовать её, дать долгую жизнь её лучистым глазам.

Кончились слова у выступающих.

Вера Николаевна подошла к памятнику и снятым с головы чёрным платком перехватила черенок венчающей звезды.

Платок всех вдов...

11

Давний вдовый сон. Миша вместе с мужьями её соседок Лизы Колосковой и Насти Котоленко медленно и без стука входит в дом. Вечер, в комнатке темь, лица — едва различить. Но Мишины глаза — она бы почувствовала и в самую тёмную ночь! Боже праведный, десять лет как кончилась война, неужели вернулся? Хочет броситься к нему — и не может; хочет крикнуть — и не может. Вошедшие молчат. Но тронутый горечью голос, вобравший в себя интонации троих погибших, вдруг звучит издалека: «Могил наших не найти. Да и не надо искать. Мы здесь! На твоём огороде — поляна. Ты б воронца нам с поля!» Случилось так, что она перед тем ездила в западные приграничные земли, пытаясь найти то, чего нельзя было найти: рядовой Муравьев погиб в сорок первом, при отступлении, когда холмики взрастали часто безымянными. И вот он, молчаливый, в своей хатёнке, с недоумением вглядывающийся в свой портрет. Взял сухую осокоревую ветвь, потряхнул ею, но ни один лист не оборвался. Молча подошёл к патефону, открыл, не глядя, поставил иглу на диск. Зазвучал вальс. И тут дверь открылась вновь, и трое, неслышно выйдя за порог, растворились во тьме.

Вдова проснулась с отравным — дальше нечего ждать — чувством, когда поймёшь вдруг, что былое счастье не вернётся даже во сны; в такие мгновенья нервны женщины накладывают на себя руки, но она была крестьянская дочь, и в её роду с жизнью — даром Божьим — таким образом не баловались.

Скорбная мелодия всё ещё чудилась ей, она даже суеверно взглянула на патефон — не открыт ли? Патефон был закрыт, в хате словно задохнулась густая тишина. Был третий час ночи. Она наспех оделась, кинулась к соседке-вдове, и ещё к одной вдове, и ещё — проулок был весь вдовый.

Обнявшись, плакали. Вспоминали ласточкой промелькнувшее довоенное счастье. А расставаясь, дали слово устроить у братской могилы майский поминный стол: прямо на вдовьем огороде, под яблонями. Загодя оповестили причастных. И свобода откликнулась. Соединяющее всех поминное и повинное

чувство всходило в людских душах, преступно было бы залить его водкой или поранить дурным словом.

Всегда ровная, всегда добронравная и отзывчивая, Ольгина тётка Вера, вдова Муравьева, была в тот день особенно хороша — каждым своим невольным движением, душевной наполненностью лучистых глаз, приветными словами. Младший Лукьянов, в ту пору уже юноша, остро, благодарно и грустно осознавал и чувствовал её женскую верность и её отцветающую красоту среди цветших яблонь. В тот день впервые повязала она чёрный платок на обелиск.

12

Ритуал у обелиска завершился, потерялась строгость и торжественность, люди задвигались, смешались. Рядом с Лукьяновым оказался Меловатский, поздоровался и посетовал на паркое солнце, которое — где было вчера, когда от дождя на них сухой нитки не осталось? Но разговориться им не удалось: подошедший Щербань увёл давнего своего друга Меловатского. На миг Лукьянов остался в одиночестве среди густой, но уже дробящейся человеческой массы и тут увидел к нему направляющуюся Веру Николаевну. Оба обрадовались друг другу.

— Вчера брат сказал, что вместе добирались. Думаю, может, на этот раз наведается и ко мне Алексей Иванович. Заглянешь, а? По старой памяти. А я картошкой угощу, — она мягко улыбнулась, — помнишь, вы с Ольгой любили рассыпчатую. Или отвык от картошки? Городами-заграницами набалован, поди?

Лукьянов шутливо, отрицательно закачал головой, что, дескать, и от картошки не отвык, и не набалован. Он спросил, не обещалась ли приехать Ольга. Вера Николаевна ответила, что племянница — птаха вольная, не знаешь, когда прилетит. Тень упрёка почудилась ему в её глазах: «Зачем тебе Ольга?» Наверное, лишь почудилось.

По косогору под яблоневыми кронами люди цепочками тянулись вверх: к сельскому кладбищу, к братской могиле расстрелянных в Крутом логу. Две братские могилы словно соединяли фронт и тыл, а главное, соединяли нынешний день и давний. Так думал художник, не без радости видя впереди себя под розовой кроной двух девчушек в белых платьицах, с одинаковыми кумачовыми бантами: им было лет по семи; художник их не знал, но они были — как вестницы Поляны, новой, молодой!

Разумеется, и не без утрат. Он не увидел многих из тех, с кем встречался в прошлый помин. Что ж, одни уходят, другие приходят. Всем и каждому стоять над могилой, зная, что когда-то будут стоять и над твоею...

И вновь — цветы, венки. И вновь — слова, которые от ты-

сячекратных повторений утратили свою изначальную пронзительность. Скоро многие стали расходиться по домам, по гостям, сморясь под угарным солнцем и надеясь отдохнуть в малом кругу родных и близких.

Но был ещё Крутой лог — неисходимая дорога... Братья Лукьяновы и Крайков повернули к лесу, а впереди — Щербань и Меловатский; и на миг почудились они ему пришельцами из давнего фронтowego июля; да и солнце жгло, как в тот июльский день сорок второго...

13

Белёсый зной. Белёсая пыль. Глазам Алёши скоро обозримое стало скучным: жёлтая нива, пепельный суходол, изредка нечаянно деревце замаячит.

Дорога становилась в тягость не только людям. Перестали взбрыкивать соседские козочки, да и тёлка, поутру с глазами отчаянно-шаловливыми, к полудню совсем притомилась: мокрые бока судорожно вздымались и опадали, на губах пузырилась пена, в глазах — тоска, как у ведомой в древний полон девушки; она шла всё медленней, всё несчастней. В солончаковой, вёглами и камышами заросшей падинке Квитку оставили. Мать не удержалась, чтоб не напоить её напоследок, — из маленького бидончика отлила в миску молока.

В сумерки добрались до Корнеевки, степной слободы, в нитку вытянутой по суходолу. Расположились на лугу, в лозах. Намааянные, развели костры.

Здесь и догнал их Меловатский с дочкой Олей, в ручонке крепко сжимавшей мелкий плод. Лишь во сне она разжала пальцы.

Алёша под негромкие голоса уснул. А на заре проснулся, разбуженный. Открыл глаза, видит: Квитка мягко, нежно тычется ему в лицо; затем подошла к его матери, принялась с усердием лизать ей руки, от ежедневной дойки пахнущие молоком. Мать вскинулась, обрадовалась: «Ах ты, горе моё! Ах ты, махонькая моя! Как же ты нас нашла? Поди, запах молочка указывал?» Мать, воркуя, обнимала тёлку, и та ластилась.

Поутру — кто обрёл пристанище у слободских родственников или знакомых, кто направился дальше; Лукьяновы, Очередко, Меловатские и Щербань решились держаться вместе; в полдень они уже были на Ореховом хуторе.

14

В Крутом логу бело, целомудренно зацвели ландыши. Его древним, язычески верующим предкам не мнились ли они человеческими судьбами и душами, невинно загубленными?

Всякий раз, думая о происшедшем в июле сорок второго,

Лукьянов думал не только о расстрелянных, но и о стрелявших. Ему представлялось по-хозяйски ухоженное подворье. На клине земли, сплошь зелёном, с чёткими, геометрически выверенными куртинами, на спуске к реке — Рейн, Дунай, Эльба? — краснокирпичный, цитадельной прочности, на столетия рассчитанный дом, островерхие хозяйственные постройки, дорожки, выложенные цветными окатышами, доставленными с морского берега. Детские голоса столь веселы, словно всё веселье мира, как дождь, пролилось именно на этот благодатный клин; а вскоре раздаётся умеющий приказывать звучный баритон дедушки Эриха, вышедшего на террасу в лёгкой пижаме, достославнейшего из ветеранов — участников Восточного похода. Дедушка Эрих так много умеет, и знает, и помнит!

А вспоминает ли дедушка Эрих придонской лог, где щедрыми очередями бил автомат, столь же привычный его рукам, как коса — рукам расстреливаемых? Догадывается ли: густо — будто белая скатерть поминовения — весенний лог покрывают ландыши, такие белые и чистые, как невинно погибшие детские души?

И неизменно Лукьянов пытался раздвинуть сотканную временем завесу и увидеть того, кто сохранил жизнь Меловатскому и его дочери. Нечаянный ли то был его поступок или само существо его? Погиб ли? Жив ли? И, если жив, чувствует ли, что никогда его не видевший русский благодарно думает о нём, удивляясь, как ему, одетому в форму, подтверждающую готовность к приказу, хватило чести, достоинства, твёрдости не поддаться стадному озверению?

И думал художник о том, что всегда, даже в часы тотальных ослеплений, рёва глоток, возбуждённого тока звереющей крови, брезжит справедливость; именно так, раз Эриху, всегда готовому выстрелить, противостоит безымянный, спасающий дитё; противостоит, как ночи противостоит день, тленью — цветенью, смерти — жизнь.

Они разбрелись по кромке леса. Меловатский ушёл вглубь. Что ж, подумал о нём Лукьянов-младший, сколько бы здесь ни было нас, он будет один; потому что здесь, на крутой пяди, сломался привычный Меловатский, сильногоголосый и улыбочивый, и в июле сорок второго из лесу вышел иной, похоронивший прежнего.

Художник думал и о нём, и о себе, об их общей судьбе. Не уйди его семья отсюда в тот час... Да, но как передать механический, деловито казнящий гул автоматных очередей, незримые, но убойные пунктиры пулевых трасс? Багрово-чёрным полыхом красок? Всё сплошь багрово-чёрное, а из-за полотна, из ниоткуда — чуть выдвинутые автоматные дула; как зрачки смерти?

Он попытался найти следы былых землянок — скорбного их становища, но это было всё равно что искать ушедший день.

Лесной отживший хмыз, молодая трава, резкие стволы груш-дикеч. Лес туго зеленел салатной, светлой листвой, в верхушках крон чернели сорочки и грачиные гнёзда, раздавалось птичье пение; кроты усердно торили свои подземные пути, и недавно выброшенные на-гора холмики земли, чудилось, ещё шевелились, дымились чёрным. И всё же какая-то пасмурная нежиль, тяжесть, заброшенность чувствовалась здесь, и он, с полчаса пробыв в лесной закраине, поспешил выбраться на взлесье. Чуть поодаль вышел из лесу и Меловатский.

На опушке Крайков вертел в руках корявую ветвь и что-то объяснял Щербаню, а старший брат, закинув руки за голову, лежал в траве — глазами в небо.

— Чем, говорю, не чудище? — обратился Крайков к подошедшему Лукьянову. — Алексей Иванович струганёт раз-другой ножом, где отсечёт, где добавит, и чем не чудище? Кащей Бессмертный!

— Алексей Иванович ничего не отсечёт и ничего не добавит, — сказал художник, своим настроением ещё не покинув тот, давний лес. — Чудищ и без нашего хватает! — Он взял ветку, развернулся и размахнулся, намереваясь её забросить подалее, но вдруг, воскликнув «о-о-о!», неловко, как подбитой рукой, кинул ветвь под ноги — будто всю силу вогнал в удивлённое «о!»

Наискосок по затравенелому косогору спускалась женщина. Белоснежное платье, длинное, ниспадающее. Сразу он её не узнал. Она приближалась, и он чувствовал, какая она красивая; она шла легко, словно бы летяще, казалась девочкой, если б не эта сильная и уверенная стать.

Не успел ещё Меловатский рта раскрыть и вслух обрадоваться появлению дочери, как художник почувствовал, что это она. Полжизни прожил, полстраны повидал, что же сердце затрепыхалось, как пойманное? И по мере того, как она приближалась, оно билось всё яростнее, сколь ни прибегал он к йоговским хитростям, веля ему и прося его успокоиться.

Победительная статья! Таких женщин в слободе не увидишь: на сверстницах Ольги Меловатской давно уже резкая, рубленая печать крестьянского труда, рано изнашивающей деревенской жизни. А здесь... «Наверное, за хорошим мужем!» — подумал Лукьянов, может, не без ревности и не без капризности, как малое дитя; и улыбнулся этому своему мимолётному чувству. И улыбнулся ей — своей молодости.

Она тоже улыбалась ему и одновременно всем и всему — близкому лесу, далёкому жаворонку, земле и небу. Легко, летуче подойдя, расцеловалась с отцом. Частые слезинки показались в её глазах, но она быстро смахнула их и заулыбалась опять. Со всеми ласково, мило поздоровалась. К нему подошла в последнюю очередь — словно испытывая его; подала руку,

какую он не держал в своей — сколько? — пятнадцать лет... пятнадцать веков! На миг ступевались. Будто задохнулись. Или искали слова. Но она нашлась быстрее:

— Ты изменился! Солиден стал. Слышала, много рисуешь. Известен. Подвижник и передвижник. — Она улыбнулась. — Скоро в Третьяковке будешь, на видном месте, а?

И по тому, что она сказала, он ранимо понял, что все эти годы она... во всяком случае, не на свёкле в сырую осень...

Чтобы напомнить ей, где они находятся, чтобы приглушить её вдруг птице-взметнувшийся пафос, пусть и шуточный, он, улыбаясь, спросил:

— За удачливым мужем? Он не коллекционирует картины? Коллекция картин, статуэток, икон, мадонн. Кареглазых женщин наконец. Да здравствуют коллекционеры!

Она рассмеялась. И проступили на лице ямочки отроческой юной Оленьки, без которой, казалось, и дорога не дорога, и жизнь не жизнь; проглянули несколько крапинок-веснушек на тонком, чуть капризном носике. В глазах, даже улыбающихся, зыбкая, как туманец, печаль; левый глаз слегка подёргивался в чуть заметном тике, что придавало её облику притаённую недосказанность.

Но теперь она не заикалась. Заговорила, и слова лились легко, изящно, что достигается привычкой возвращаться в художественных, чаще околхудожественных сферах, даётся встречами, вечерами, где с умным видом говорят решительно обо всём, знают даже то, чего не знают, но тут важен тон! Разумеется, обаяние её речи заключалось совсем в другом — в самом голосе, редкостно-мелодичном, с напевной интонацией. Голос был тревожащий, уводящий вдаль.

15

Хутор Ореховый, который исхитрился разместиться на опушке меж оврагами и был мал, как птичий клюв, пополнился четырьмя слободскими семьями.

У дома, где нашли приют Лукьяновы, — два тополя. Между ними колодезный журавель — до самых тополиных верхушек. Вверх-вниз поднимался — опускался журавель, и временами Алёше чудилось, что тот освобождается от крепки, оставив колодец, медленно уплывает ввысь.

А на задворках чего только не было! Сказать бы вернее — ничего не было, кроме заброшенного омшаника да полуразваленного хлева, скрытых акацией и сиренью. Но этот клочок пустыря у приовражного верха, откуда в широком яру открывалась дорога, по которой двигались враги, и стал для нечаянно бездомных детишек заменой дому, их детской площадкой и плацдармом возмужания.

Дорога в яру беспрерывно пылила под колёсами вражеских машин, под обутыми в кованные сапоги ногами. И надо было бить их, чтобы не успели пройти к Дону и убить наших. С крыши омшаника, с акациевых крон Алёшка Лукьянов и Колька Очередко слали на дорогу неутомимый прицельный огонь из деревянных винтовок, какие приладил им Щербань. А в омшанике разворачивались бесконечные танковые сражения, и деревянные бруски-танки с крестами уничтожались десятками, и камешки, и палочки, являвшие собою солдатские цепи, поднимались в атаки и контратаки. Гибель! Гибель! Гибель!

Но в их каждодневное сражение и смертоубийство Оленька вносила хрупкий покой и милосердие. Не то чтобы она укрощала их воинственные страсти, но по неосознанной ещё ею извечной женской тяге к продолжению, а не пресечению жизни противостояла их жажде войны своей жаждой мира и исцеления. Её любимая игра была «госпиталь». Тряпичные куклы-замухрышки множились в омшанике, тесня машины и танки. На плашмя лежащей в дальнем углу двери с тщанием и заботливостью ею был устроен госпиталь: чистые кровати под навесом, на них — раненые, да ещё два стола, на одном — лекарства, на другом — вода в гильзе и еда. Часто налетали вражеские самолёты, и тогда сестра милосердия с причитанием «Родные мои, куда ж нам?» спешно размещала раненых в бомбоубежище — наполовину вкопанном в земляной пол ящике; всё как в жизни: Оле уже приходилось укрываться вместе со взрослыми в погребе, когда «юнкеры» прилетали не понарошку.

А ещё Оленька была незаменимой в игре в «разведчики»: пролезет в такой бурьянной чащобе, где никому не продраться, приметит такое, чего Алёшка и Колька в жизнь бы не заметили. Лишь одна была досада в их живых играх — её медленная прерывистая речь, её заикание. Когда, бывало, спросишь её резко, она терялась, мучительно пыталась сдвинуться с начального звука и не могла; и мучительно сквозь веснушки пунцовела, будто охваченная пламенем.

16

Все они, миллионы детишек той кинутой в огонь и дым — не для детства — поры, играли в «войну». Все они, ныне помнящие и не помнящие о ней, прожили половину своей жизни, полусостарились, и — кто как — иные нажили житейские блага, другие — болезни, кто обрёл чины и ордена, кто угнездился, укрепился в жизни, а кого уже и в живых нет.

Но вот они — двое. Как говорится, ни чинов, ни орденов. Да об этом ли печаль? Когда полдня назад они встретились в Крутом логу, Лукьянову на миг показалось, что даже прошлого, их роднящего, в них уже нет. Но вот они у донского берега на

поваленном дереве сидят, чутко касаясь друг друга плечами, и не прежняя Ольга — будто прежняя.

Излука. Стародонья сворачивает от круч и смыкается с Доном, образуя и замыкая Большой остров. Слева по берегу — Осокоревый круг. А перед глазами — три островка, заросших вёслами. Летом на островках — тень и песок. Во дни молодости они провели здесь не один час, загорали и купались. И он юно, смущаясь, чувствовал, как под купальником зреет её молодая прекрасная грудь. Лет тому назад... да чего ж вспоминать? Выстаивался лунный вечер. Журчала приостровная судовь. Взыгрывал, томясь от неизрасходованной силы, майский сазан. Лунная дорожка стлалась к Большому острову, к той далёкой весне. И дыханием их молодости будто бы всё ещё был объят вечер. Лет тому назад... Тогда на лугу и на острове цвела сирень, и речные, полевые и луговые запахи, соединяясь, рождали чувство бесконечной жизни.

Известный столичный певец, по весне любивший отдыхать здесь, в вечерний час проплывал на лодке мимо островков и пел «Горит свечи огарочек, гремит последний бой», заменяя в песне почему-то всякий раз слово «недалний» на «последний», а некий неизвестный писатель, его друг, подыгрывал ему на аккордеоне; если б и вправду последний бой? Слушать бы тебя не переслушать, дорогой певец.

На берегу собирались молодые и старые, толкуя кто о чём — почему певец без жены, почему отдыхает здесь, а не на море, и сколько ему платят денег с песни? — забывая, что здесь он поёт не за рубль, а от желания петь в просторном мире, стенами не ограждённом зале.

А их — будто и было только двое. Вечерами они шли к лозняковому причалу, старой лодкой переправлялись на большой остров. И здесь, и в слободе ещё продолжалась привычная крестьянская жизнь. К острову причаливали плоскодонки. За рекой влаивали собаки, раздавались человеческие голоса; там управлялись по дому. А их — будто и было только двое.

На острове у них была своя поляна, о которой никто не знал; а может, никто не замечал того, что открывалось им здесь. Крепкий дуб с раскидистым овершьем, ломанный-переломанный бурями и молниями. А рядом рябинка касается своей верхушкой нижней дубовой ветви. Двое в окружении черёмух, как невестинных подружек. И они здесь — нечаянные, незванные, и всё же званые — в шорохе высоких листьев им чудилось тихое приветствие. Приклонив счастливую голову к его груди, Оля тихо начинала петь про рябину тонкую, вопрошая её: что она качается-склоняется? Что же они качаются-склоняются, женщины, видать, похоронками на родимых склонённые до согбенности? И чистый напевный голос раняще отвечал словно бы от имени несчастных. Алексей боялся, что вдруг на самом высо-

ком пределе душевной сопричастности Олю настигнет заикание, поэтому слушать её пенё было ему счастьем, но и мукой; однако всё обошлось милосердным образом, может, оттого, что много тишины, лишь этот шорох листы. Да их любовь. И казалось ему, что им дано отлюбить за всех невстретившихся и разлучённых.

Здесь, под ветвями рябины и дуба, они впервые поцеловались. Здесь шептали вечные слова. Вечные, каким отпущена столь малая жизнь. Не прошло и четверти века — где они, те слова, разве сбылась хоть малая часть того, что шепталось в них?

Светил месяц. Песнями взрывались соловьи. Из слободы доносился иноязычный, резкий — под ударник и барабан — голос, записанный на магнитофон. Шум занялся и совсем близко, на воде, откуда с двух лодок громко переговаривались, верней, переругивались лихие полуночники, заводившие сеть.

Но опять, как в молодости, стороннее было для них — как тустороннее, как несуществующее. Только всё мучительней, всё обрывней, сладостней чувствовал он, как тяжёлой силой-слабостью наливается её плечо. Он захотел поцеловать её. И вдруг некоей холодной точкой в глубине сознания, в молодости и не помышлявшей заявлять о себе, он почувствовал, что его желание — не то ликующее хотение юности, когда за один поцелуй отдашь, не задумываясь, полжизни; нет, здесь попытка разжечь, воскресить былое; всё это, подумал, оттого, что он слегка под хмелем, что она хороша и могла бы стать его женой, но... И кто же она ему?

Неужели им осталось одно: «Помнишь?»

И, словно бы подтверждая, чуть отстранясь, она спросила: «А помнишь, как опрокинулась наша лодка? То знак был. Не стоило в такой вечер затевать плавание». Он промолчал. И она заговорила вновь: «Помнишь, как выбрались на остров, разожгли костёр? А ветер не утихает. Я волнуюсь: «Как назад станем добираться?» А ты дурачишься: «Мне и здесь хорошо. Гораздо лучше, чем Робинзону. У меня есть ты!» Всё донимал меня конопушками. Говорил, в народе есть поверье: коли рыжая полюбит — не разлюбит. Дурачился, а нам уже знак был».

В двадцать лет ему представлялось, что сорокалетний возраст — пристань старости. Изветшала лодка, опущенные паруса, сиди дома, с племянниками забавляйся сказками про Иванушку-дурачка. Но вот... ей без малого сорок, но как же она хороша, насколько моложе своей метрики! Какая старость? Может, их жизни только начинают по-настоящему жить.

Она говорит мягко и певуче. И не заикаясь! А в детстве злые языки дразнили её заикой, и скольких переживаний стоило это ей. И ему — тоже. Он и подрался впервые, её защищая. Гришка Сычан, двумя годами старше его, на уроке родной речи на-

звал Олю зайкой-мурлыкой, и он, удерживая порыв, от волнения, от жажды посчитаться терзал в кармане синий наконечник зажигательной пули, — так судорожно терзал, мял пальцами, что тот надломился и загорелся в кармане; но зато с какой праведной местью кинулся он на Сычана — будто на главного своего врага, на самого ненавистного фашиста; они дрались на перемене, и не закончили поединка, и после уроков сцепились вновь, не желая уступить друг другу, — пока их не разняли взрослые. Стали считать успехи и доспехи, у Алёшки они оказались неутешительные: разорванная рубашка, лицо сплошь исцарапанное, словно разгневанный петух топтался по нему шпорами. Но и после Алёшка дрался всякий раз, когда её обижали; беда только в том, что её дразнили зайкой и тогда, когда она оставалась без него.

Но что же ему не дало соединить с нею жизнь?

Он думал, что она как неизбежный крик из Крутого лога, что она — его слеза и память. А она рвалась на простор, вдаль.

Ему вдруг захотелось увидеть её мужа, мужа его Ольги. Лукьянов поморщился, досадуя, усмехаясь: вот и Ольга — уже его...

А Ирина в городе сном и духом не ведаёт, что он здесь — пылающий добр-молодец. Мысль о жене — как лезвием. Стало нехорошо и стыдно, он представил её вечную занятость; вся её жизнь — уйма глаголов: раньше подняться, позже лечь, навестить, разыскать, купить, приготовить, накормить, объяснить... Всё для мужа, всё для сына, в этом — её жизнь; он попытался представить, что она делает именно сейчас...

Магнитофон ближе, громче; рвался чей-то истошный вопль.

И вдруг в коротком передыхе меж магнитофонным ором донёсся из городка звон старинных курантов — будто из давних преданий звон.

Двое вздрогнули. Совсем не похожи на выстрелы те звоны. И, однако, они вздрогнули.

После войны их поколению — детям кинутых в голод и холод славянских деревень — надо было выжить, и они росли, как ковыльники на круче, и ветер жизни не поломал их!

Художник подумал, что, если ему, не видевшему, не знавшему расстрела, часто в резком стуке и в мелодичном звоне мерещатся звуки автоматной очереди, острые одиночные выстрелы, то каково же этой девчужке? Да, именно девчужкой — обними её! — почудилась она ему в этот миг под огромной небесной чашей, залитой голубым.

Она хотела что-то сказать и вдруг запнулась. И как бы испуганно прислушалась к себе. Он дал ей время успокоиться. Затем бережно обнял, поцеловал. Она не отстранилась, но сказала глухо:

— Не надо. Наверное, не надо...

— Почему? — глупо спросил он.

— Помнишь, Онегин отверг Татьяну-девчонку, а потом увлёкся Татьяной-генеральшей?

— А ты, разумеется, коль генералу отдана, то будешь век ему верна? — спросил он с улыбкой, скорее грустной, нежели язвительной.

— Нет, вовсе не так. Но разве можно вернуть то, от чего отвернулись... изменили... предали... не знаю, как и сказать?

— «Люблю в тебе я прошлое страданье и молодость погибшую мою». А если — без патетики?

Он снова поцеловал её. И вновь. И повеяло юным, забытым, когда страсть словно рождалась в терпких черёмушниках, в запахах, источаемых животворной землёй, и томилась в них — двоих. И сказать бы: как в молодости! Но...

— Ты же моя?!

— Твоя, — просто согласилась она. И добавила: — Но ты не мой!

Он собрался услышать упрёки. Но она заговорила вдруг с девическим оживлением — будто и не было её замужества, бегства от самой себя:

— Незадолго до твоего отъезда, помнишь, плавали на лодке до Монастырской горы. И я думала: «Уплыть бы с тобой вниз по Дону, далеко-далеко, хоть до моря, хоть за море». Как будто счастьем нельзя было распорядиться здесь — пошли его нам судьба. А когда ты вдруг уехал... Да что там! Бывало, приду на берег, сяду в твою лодку и сижу до полуночи — на что надеялась? А однажды всю лодку избелила... как белый крик по борту: «Алёша! Лёша! Лёш!» А ты так и не услышал.

Что было возразить? Слышал. Но...

Когда от брата, из далёких Кара-Кумов, пришла срочная — зов о помощи! — телеграмма, он выехал сразу, не простясь с Олей, которая в областном центре сдавала вступительные экзамены. По приезде в пески он столь был подавлен братовой бедой, что в первые дни ему стыдно было думать о своём счастье. Хотя — думал! Шли дни за днями, недели за неделями. Он несколько раз начинал письма и не мог их докончить. С братом было неясно. С самим собою что-то творилось. Какая-то странная зыбкость. Бесперывные дули ветры, гоняя пески по пустыне, рождая золотистые угрюмые барханы и навевая забвеньё. Его любовь будто искаивала, как мираж, уходила в песок.

Или это случилось позже, когда появилась Ира? Наваждение, но Ира могла бы сойти за сестру Оли. Та же порывистость, тонкость тела, тот же поясок веснушек на лице, даже стожарная россыпь конопушек на шее повторялась. И глаза одинаково глубокие, как проруби. Только у Оли — синие проруби, а у Иры — зелёные. Разве спасают глаза, в которых — прорубь? Ира ничего не требовала от него — в этом была её сила.

— Долгие недели от тебя не было весточки, а потом и получила письмо, да не обрадовалась. Странное письмо, ничего не понять — то ли ждать тебя, то ли не ждать. Я сразу почувствовала: что-то сломалось. А потом ещё одно письмо, уже с морской службы. Ты писал, что служить тебе — долго, неизвестно, как всё сложится. Словом, выпускал птичку на простор, не спрашивая, хочет ли она того. Ты развязывал мне руки. Вернее, себе!

Она взглянула на него с мягким укором, с улыбкой, возвращённой любовью, и стала говорить дальше, может, надеясь неожиданной исповедью покончить с прошлым:

— Я долго не могла прийти в себя. Бог знает на что надеялась. Дурочка. Даже когда выходила замуж — надеялась. За свадебным столом ждала — а вдруг? Вдруг появишься и уведёшь! Алые паруса... Алые сказочки.

После юношеской разлуки лишь однажды — мельком — встречались они, а так жизнь развела их далеко друг от друга, будто не желая возвращения их прежнего чувства; однако уведомить друг друга из памяти они не могли. Оставалась какая-то тяжесть — словно оставался неизрасходованным тот душевный запас, что, может, был назначен им друг для друга.

Пресекая их прошлое, она стала расспрашивать о его сыне. Да, растёт, отвечал он. Да, учится, так себе, отвечал. Да, послушен, хотя нет, балован. Да, похож на него, хотя похож больше на мать.

А сам думал, как думал не раз прежде: отчего у неё нет детей? Тонкая, тугая и нежная, она ещё в молодости виделась ему идеальным воплощением материнства.

Не случись тогда в песках беды, их бы сын и дочь... Или нет? Или их расстреляли в ней, ещё девочке, в минуту страха и ужаса в Крутом логу?

На близком берегу, приметном тремя старыми осокорями, полыхнул костёр — будто в него плеснули бензин; он загорался всё ярче и выше, и стало видно, как опалает ветки малых осокорей, коренившихся вокруг больших.

— Гляди, под осокорями... — тихо-сказала Ольга. — Места им другого не нашлось?

Костёр будто сжигал их прошлое да и прошлое всей Поляны — Осокоревый круг был чтимый слободю уголок, и редкий кто из слободских не взбирался в детстве на самый высокий осокорь.

Однако не память о том, как он в детстве взбирался наверх, заставила Лукьянова резко подняться, но давний Олин рассказ о своей тётке, о том, как она все долгие годы после гибели мужа приходит к осокорю, находя, ощущая на прохладном стволе тепло далёких рук.

— Подожди немного, познакомлюсь с кострожогами.

— Не ходи! Небось пьяные.

Но он зашагал резко, почти в бег. Когда приблизился, над головой, скользнув по ветвям, впросвист пролетела опорожнённая бутылка. Он вошёл в Осокоревый круг. Вокруг костра — ещё один круг. Кто сидел, кто полулежал. Гудел хмель вокруг костра. В молодости он не боялся выйти против двоих, троих. Сколько их на этот раз? Но в сорок лет ему не хотелось начинать с мальчишеского, с драки. Надеялся объясниться иначе.

Увидел: в старый, на ладонь прорубленный осокорь впился у корневища топор; молодые осокори смугтели у костра, как бы приподымаясь на полуобрубленные ветки.

Гнучий детина шагнул к нему, прицельно смерив колкими глазами, чувствовалось, узнал его; куражливо раскинул руки:

— А, дорогой соотечественник! Давно, давно бы пора встретиться! Ну что ж, давай к нашему столу. Ушицей угостим или ещё чем-нибудь.

Теперь и Лукьянов видел, кто перед ним. Григорий Сычан, сын недоброй памяти председателя. Но изменился! Не прежний — хлыщеватый, с подсинёнными подглазьями, в узеньких импортных брючках. Изменился, обрюзг. Хотя глаза прежние: белые, холодные. Выглядит — будто бездомный. И эта мутная ватажка... Видать, не напрасен слух, что Гришка — наводчик лихих издальних компаний на слободские погреба. Оттого нынче в магазине спрос на замки; да чтоб в кулак, не меньше фунта! Раньше ни у кого двери не закрывались, разве что щеколда накинута, а теперь окна в лето стали двойными рамами защищать.

Сычан покачивался, сверля Лукьянова острыми, как гвоздики, зрачками. Грозя словно бы приклеенной улыбкой, приглашал «отужинать», но была в его словах недоброта, ждущая ссоры, и ватажка чувствовала это, внутренне изготавливаясь, собираясь в кулак. Двое поднялись. Один подошёл и стал рядом с Сычаном, другой кинул в костёр осокоревых поленьев, плеснул на них из канистры. Огонь полыхнул шумно, яростно.

— Пусть они. Но ты! Ты же... — Лукьянов жёстко тряхнул Сычана за плечи.

— Проваливай отсюда! — подступился ватажник. — А то заместо полена в костерок!

Ещё трое стали заходить со спины, беря в обхват.

— Алексей! Лёш! — близко раздался рвущий тревожный голос.

— Не ходи сюда! — крикнул он, невольно подаваясь, оборачиваясь на её голос.

В этот миг его ударили со спины. Удар — поленом — был тяжёлый, — но он устоял. Вторым ударом его сбили с ног.

Падая, он успел подумать о брате.

Старшего брата он помнил, сколько помнил себя, и всегда — сильным, смелым увальнем, в котором уживались замкнутость и общительность, нередкая улыбка сменялась столь же нередкой угрюмостью. В часы одиночества и тоски, вдалеке от дома и вдалеке от брата вспоминал: бледный, как стена, старший стоит у стены под пулями немецкого карабина; свозит с поля наших убитых; подолгу пропадает на заминированной полосе...

После войны, отбыв сезон в прицепщиках, брат поступил в мелиоративный техникум в Городке. И всё у Бориса спорилось: был среди первых в учении, много читал, играл на гармошке, пел, мастерил, занялся боксом — стал чемпионом Городка, увлёкся шахматами — да с таким чутьём и страстью, что заезжий известный шахматист проиграл ему трижды кряду и сначала обиделся, а потом, уехав, через месяц вдруг прислал сборник шахматных комбинаций и доброе письмо.

А завидующие — видят и ненавидят. Горин и Сундук, куражливые дружки, работавшие вместе с Борисом на тракторе, стали жёлчно охаивать его после того, как он поступил в техникум; за спиной, шепотком. Оглуший при разминировании, он многое недослышивал, но чувствовал: злобное творится за его спиной; будто он растревожил змеиное гульбище в бурьянах на круче, ему чудилось шипение...

А скоро они на глазах у Бориса стали приставать к его приятелю, безответному, без руки парню; Горин ударил, и, когда размахнулся снова, Борис мгновенно погасил замах; резкий боксёрский приём, Горин — в придорожных колючках: «Мы тебе устроим! Мы тебе припомним!» Сундук на помощь не поспешил, зная, что в честной драке им его не осилить.

Встретили вечером, с гаечными ключами, завёрнутыми в платки. Удары градом обрушились на голову, шею, плечи и сыпались, пока он не упал, не перестал обороняться, не затих. Очнулся не скоро. Едва поднялся. У хаты, где квартировала молодая фельдшерица Нина, долго стоял, держась за калитку, её не открывая; наконец постучал в окно. Нина выбежала на знакомый условленный стук и ужаснулась, заплакала: «Что с тобой? Кто тебя?» — «Вот и вся свадьба!» — сказал он так, словно изжил свою ещё и расцвести не успевшую жизнь.

Поутру мать собиралась с сыновьями везти в Городок яблоки, заходят с Алёшей будить Бориса, а он лежит весь в бинтах, с открытыми постарелыми глазами. Увидел младший старшего — и все в нём будто оборвалось.

А у Бориса худое на этом не кончилось. Став специалистом-мелиоратором, уехал он в далёкие пески строить большой канал. Попал в тяжёлую аварию, поначалу не мог двигаться, на время утратил зрение.

Младший брат, к той поре уже ставший взрослым, — как мчатся на крик-сигнал «SOS!», — помчался к старшему брату, всё кинув и не догадываясь, что ломается и его жизнь.

18

Ольга, почувствовав, что в осокорях стряслось неладное, кинулась громко звать на помощь. На счастье, поблизости, у границы садов, оказались старший Лукьянов, Крайков и Ярковой — услышав Ольгин крик, они поспешили на помощь. Когда прибежали к берегу, компания уже отчалила на двух лодках, шумно и зло загребая вёслами. Алексей стоял у самой воды.

— Алёш, ты как? Ничего они тебе? — Запыхавшийся Борис спросил с той кровной заботливостью, какой давно уже не замечал в нём младший брат и от какой ему стало тревожно и хорошо, как ребёнку.

— Ничего страшного, — слабо улыбнувшись, ответил Алексей, — заживёт и без свадьбы.

— Лодку! Лодку! Эх, Очередко б сюда! — Крайков бегал взад-вперёд по берегу, готовый, казалось, кинуться в воду и догонять вплавь. — Эх, полюбишь Наташку, а у Наташки Сашка. Где же лодку найти?

— Они от нас не уйдут! — трезво и жёстко пообещал Ярковой. — Я эту пьянь-компанию знаю. Со дна достанем!

— Не стоит! — тихо сказал Алексей. Голова чугунно гудела, огнём горела спина. Но он мог двигаться.

19

Оставалось совсем мало до полуночи. Долгий день заканчивался — поражением? Будь удар сильнее, и отправился бы в рай, ад или куда там, даже не разглядев своего ангела смерти. Глупо, разумеется, всё обернулось. Чего ради? Ну, понятное — война, стихийное бедствие. Или бы спасал живую душу, помог кому.

Но он тут же и погасил в себе эти мысли, увидев, как юная молодая стареющая вдова долгие годы после гибели своего мужа приходит к осокорю и, касаясь прохладной коры, ощущает тепло невозвратимых любимых рук.

Лёжа на нерастеленной кровати, он, как и сутки назад, видел: в простенке меж окнами, будто одушевлённое, томилось зеркало. На кухне хозяйничал Борис, что-то переставляя, сдвигая. Зайдя в горницу, присел на кровать, спросил: «Болят?» — отзвук прежней любви и нежности почувся в слове, и младшему брату мучительно захотелось, чтоб старший, как прежде, запустил пальцы в его волосы, потрепал их с шутливым

вопрошанием: «Ну, меньшей, осилим?» Но Борис сидел неподвижно и внешне безучастно. Прикуривая, высветил своё крупное, усталое, в шрамах лицо. После нескольких бесконечно долгих затяжек спросил:

— Нашла Ольга своё счастье? Хвасталась иль жаловалась?

— Не поймешь, что у неё... или счастье — как несчастье, или же несчастье — как счастье.

— Да, чужая жизнь — потёмки. В своей — и то не разберёшься. Отчего ж Ира не приехала на праздник?

— Сердце опять... — уклончиво ответил Алексей, понимая, что Борис неспроста спрашивает его о жене, а вопросом высказывает своё отношение к происходящему.

— Ну, надумал ты перестраивать дом в Городке? — в свою очередь спросил Алексей, убегая от разговора об Ирине и Ольге.

— А для какого певца её перестраивать? Для кого? — почти враждебно оживился старший. — Для Зойки? Так мы с ней и в Зимнем дворце уже не сладим... Что толку переделывать печку, ежели всё потухло. Жизнь не перестроишь. А дожить — хватит и этих стен.

Он тяжело поднялся. На кухне слышно было, как булькают выливаемые в стакан остатки дешёвого вина. Затем осадисто скрипнул диван, почти равнодушный, донёсся голос: «Ладно, спим!»

Алексей, глядя на смутно видимое зеркало, вдруг ощутил к нему невольную неприязнь как к живому существу — свидетелю разобщённости двух родных душ. Наплывали неясные думы о брате, о слободе. За вседневными суетными заботишками главное, заветное отодвигается — и долго ли ещё? Удар в спину — как звонок, как предупреждение: жизнь проходит, она может оборваться вдруг.

Главное, заветное... «Родина вечная»... Полотно торжественное, скорбное и радостное, на котором зелёные, синие, червлёные открываются и уплывают вдаль, в вечность славянские реки, леса и поля; полотно «О светло светлая и красно украшенная земля Русская!» — рати суровые, терема деревянные с вековечными Ярославнами, беды и скорби чёрные, как поминный платок. Полотно, которое по ночам вдруг открывалось ему словно бы уже существующее, за малым «чуть-чуть», а днём растаивало, ускользало, ненасытно требуя новых зарисовок, мучая бесчисленными эскизами.

Трудно давалась и «Поляна весенняя», хотя сегодня, чувствовал он, что-то в нём замерцало, что-то важное приоткрылось на поминном часе.

Давняя его мысль — через линии и краски продлить жизнь всему уходящему на родной земле. Не первый год живущим вдалеке землякам он слал письма, приглашая: «Встретимся! Вернёмся!»; он тщательно вырисовывал план Поляны; всё было

здесь: сад по косогору, овраги, улицы, дома, помеченные фамилиями, даже такие — бугры да крапива, — которых уже нет; теперь оставалось, уменьшив, отснять, размножить и разослать живущим вдалеке! «Встретимся! Вернёмся!»

Нарисовать своих земляков, всех, любимых и нелюбимых... Но иных и в живых уже нет. И всё же, — «Пока я думаю о них, они живые», — Алексей чутьём души, опытом жизни, памятью предков понимал: ушедшие живут, если пришедшие помнят о них.

В пору молодости, перед вечерними танцами в клубе, у него собирались сверстники, и он поочередно рисовал их. Маленькие окна, застимые акациями, не могли дать желаемого света; он зажигал лампу, и желтоватое свечение-дыхание пламени словно бы проступало на рисунке.

А один портрет — погибшего в Крутом логу троюродного брата — был нечаян, как озарение. Алексей тогда уже любил и был любим. Уже был целован. Полночью возвращался домой — с опухшими губами, упругий, тугой, бессмертный. И однажды полночью, черпая воды из колодца, чтобы утолить свой яркий молодой жар, вдруг услышал слабый крик — зыбкий, давно умолкнувший братьев голос; и сам брат о пяти годах едва помеченным силуэтом возник среди акациевых крон, среди звёзд — смутный, колышущийся, словно камышинный росток в речном тумане. И вдруг — как вблеск молнии — его лицо! И Алексей в одну ночь нарисовал портрет, который, может, и вовсе не был портретом расстрелянного, но памятью и тоской о нём.

Ему казалось: нарисовать слободских — значит вернуть голоса и краски меньшающей слободе. Через кисть, пастель, карандаш продлить жизнь семьям, вдовам, Меловататскому, Щербаню, Загуменному. А как быть с Сычаном-Катычем? Дрынем? Истина или мягкосердие? Жёсткость, какую они заслуживают? Или прощающая мягкость, какую они не заслуживают?

Зимой, после долгих упрасиваний, взялся Лукьянов «запечатлеть» соседа по городской квартире, преподавателя, читающего курс эстетики, собирателя бабочек и собаколюба; ему за пятьдесят, он не воевал, а его младший брат, не защищённый, как он, броней, погиб под Смоленском. А этот — молодящийся рубаха-парень, рубаха-муж, поёт, цитирует модные стихи, обо всём знает, на всё в мире у него есть ответ, предупредительно-внимателен к женщинам; подобные счастливицы украшают разного рода притязающие и непритязательные застолья, они всюду при голосе, при месте. Но портрет был неожидан. То есть, конечно же, рубаха-парень с породистым лицом, но глаза... вроде бы и улыбающиеся, но корыстные, затаённо-недобрые, и тени суетливости, трусости и блуда чернели в них, вро-

де бы и улыбающихся. Вроде бы и глядящих на тебя и всё же уклончивых. А вскоре художник узнал, что его натурщик в жизни таков, — жадный кот, прошедший окольные, вилюжистые пути от торговца до специалиста по эстетике, всю жизнь загребавший жар чужими руками, уступая другим право мокнуть в окопах, гнуть спины за столами, отнюдь не гастрономическими. Когда Лукьянов узнал об этом, он на миг обрадовался своему внутреннему зрению, а затем и подосадовал, что оно столь проницающее, потому что, задумав представить в рисунке образы слободских, он предпочёл бы видеть всех добронравными, надеялся как бы приподнять иных над собою, то есть даже недобрых дать в чайный доброго. Но портрет специалиста по эстетике исключал такую возможность! Только истина! Только правда, сколь ни жестока она!

Вот и Сычан-Катыч... отпил, отгулял, упрыгался. Сейчас старик как старик, вконец белёсые глаза, белёсые жидкие волосёнки взывают к жалости; ведро воды, да что там ведро! — собственную руку поднять в тяжесть.

Но был давний июльский день. И видел Алёша — он заготавливал хворост для зимы, — нечаянно и онемело увидел, как у Крутого лога Сычан-Катыч, как из-под земли, вырос перед матерью Ивана и Сёрежи Крайковых и властно остановил: видел, как она, невысокая ростом, стала ещё меньше, как долго не могла расстегнуть кофты, как вытряхивала из-за пазухи горсти зерна, горсточки, может по зёрнышку, и длилось это мучительно долго, как длится неудачная казнь... И медленно, потерянно, будто не своими ногами шла за колхозным председателем в близкий терновник. И осталось в нём, мальчишке, чувство стыдного любопытства, удушливо-жутковатого, и брезгливости, и чего-то непоправимого.

Однако нашлась управа. Случилось вновь на его глазах годом позже; ехали они с Щербанём на повозке, доставляя с поля порожний, из-под воды, бочонок; чуть впереди шли, возвращаясь с нивы, молодые жницы — Муравьёва, Загуменная, Колоскова, все вдовы. Близ слободы летучей мышью из-за увальца вылетел Сычан-Катыч. Велел остановиться. Подождав, пока подъедет повозка, сказал властно Щербаню: «Будешь свидетель!» Долгим расстреливающим взглядом смерил женщин. «Вытряхни, что есть!» — приказал Муравьёвой, с неё начал истязание. Та, с брезгливой покорностью глядя председателю в глаза, вывернула карман с пшеницей. Набралась горсть-другая — вес, достаточный, чтоб говорить, не церемонясь, даже с такой своенравной пленницей, как Муравьёва. «Ну?» Многое заключалось в этом «ну?»; и было жестокое торжество в зрачках-буравчиках, в неподвижных белёсых глазах, раздевавших её с уверенностью победителя. «Ну?» — повторил он, толстолапой ладонью приподнял её подбородок.

Вдруг она отпрянула к повозке, выхватила из рук Щербаня хлыст и изо всей силы обрушила его на Сычана. И вновь!

— Это тебе за меня! Это за Мишу! Это за меня! Это за Мишу! Он нашу слободу, нашу землю защитил, так, думаешь, меня не защитит? Посади меня за стены каменные! Сживи с белого свету! Сживи, чтобы твоей прыщавой жабьей образины не видеть. — Слова её были отрывисты, как удары хлыста, частые, частые. Она словно задышалась, сама не своя. — Даже если без сознания, насильно... всё равно никогда не твоя!

Отбросила хлыст. И, ни на кого не взглянув, пошла.

— Видели, а? Нет, видели? — засуетился Сычан-Катыч. — Будете свидетелями. Нападение на должность!

— Видели, как ты, пакостник, за свои пакости схлопотал, — насмешливо и возбуждённо сказал обычно добродушный Щербань; теперь он воинственно держал поднятый хлыст. — Подожди, это только цветики! Тобой ещё в районе не занялись. Не знают про все твои проделки. Но мы не смолчим!

Давний случай с Сычаном-отцом вернул художника к Сычану-сыну. У сына не только нутро, повадки отцовские, но даже невытравимые прыщи на розовой коже, даже эти зрачки-буравчики в белёсых глазах... далеко смотрят, цепко видят. Бывало, там, где другой усмотрит на горизонте точку, Гришка Сычан, чуть щурия глаза, определит, что это человек и даже кто он.

Лукьянов усмехнулся в комнатную темь, вспомнив, как он однажды завидовал этой кобчиковой цепкости и здоровью Гришкиных глаз; заканчивал картину для выставки, а глаза разболелись; тогда-то, увидя здорового Сычана, художник и подумал с унижающей себя досадой: «Зачем ему? Пить водку, расстёгивать пуговицы на случайном женском платье — для этого не требуется отменное зрение».

А на другой день пожурил себя вслух при Иване Крайкове, дескать, несправедлив был.

— Господи, что за сопли-вопли! — возмущился друг. — Не добр, видишь ли, к подонку. Да Гришка — случись вам оказаться у пропасти — толкнул бы тебя и не ойкнул. Ещё бы и медаль у чёрта выпрашивал. А ты — тоже мне миротворец. Учить этих Гришек надо! Эх, побывать бы нам с тобой в атаке, там бы ты не стал раздумывать — бить или не бить.

— В атаку нам уже едва ли... — отшутился Лукьянов.

— Ну так сына не разоружай, тому ещё придётся идти! Подальше прячь свои пустые скорби!

Ничего не возразишь. Когда человек долгие годы, изо дня в день врубается в угольный пласт и над ним километр земной толщи, постоянная опасность — это дает чёткость взгляду, характеру. Ясно понимаешь: главное — в полярности... глубь и высь, день и ночь, друг и враг.

Алексей засыпал, погружаясь в чародейную мглу старинного зеркала. В полуяви, полусне на миг возникали, проплывали и вновь возникали грустные, весёлые, гневные Муравьева, Щербань, Крайков, вся Поляна кружилась — будто на отвесной синей стене... Да, «Поляна весенняя»... как сады цветут! И обелиск, и солнце. А в углу картины, словно зазеркалье: лиловато-чёрное, осклизлое, сырость и тлен, царство мокриц... там Сычан-Катыч и ему подобные, там чудища выползают на свет — останови их!

И ещё, засыпая, думал, что надо встретиться с Загуменным, как бывало в молодости, отвести душу. Поляна для него не пустой звук.

И последнее — как вспышка: «Придёт ли Ольга?»

Думал ещё: «Утром надо взять машину на круче».

20

Он проснулся рано, но брата в хате уже не было, не было его и во дворе; скорей всего подались с Крайковым на старые запруды рыбачить. Утро поднялось ласковое и чистое, без туманца и той пепельно-опаловой дымки вдали, что выстаивается в летние месяцы. Мир выступал словно бы в изначальной своей первозданности — без крика и зла.

Пока не жарко, пока утренняя свежесть и прозрачность, в какой неискажённо и ясно видится окоёмная даль, Лукьянов решил пойти за машиной, позавчера в дождь оставленной на Монастырской горе. Лучше было добираться полевой дорогой; но он выбрал бездорожные бурьянные кручи; не оттого, что короче, а чтобы вновь порадоваться, глядя на Задонье; да и пройти прибрежными меловыми хребтинами, где хаживал в детстве и юности, не означало ли вновь пережить давнее?

Пересекши яр и овраг, берега которого соединял в две бетонные плиты мосток, Алексей молодо взошёл на Полынь-гору. Частица его жизни — на этой горе! В детские весенние дни, едва сходил снег, играл со сверстниками в лапту; в отрочестве высаживал здесь вязы и берёзки «природопреобразующей» лесополосы; в юности столько здесь исхожено им и Олей...

На гребне горы — бывшее убежище, вырытое немцами осенью сорок второго. После войны в нём вечерами гуртовалась молодежь — и просторно, и не под докучливым приглядом старших; разве что сыро, зябко. В ту пору Сычан-Катыч своей зазнобе Серафиме привёз соломы — хлев перекрыть. Подростки ближе к ночи полкопны перетаскали в землянку и, чтобы замести следы, стёжку из золотистой соломицы выстелили ко двору ещё одной Сычановой любушки — Дарьи. Наутро соперницы кинулись трепать друг другу волосы. А в полдень двое Дарьиных близнят разожгли в убежище костёр из той соломы,

бросили в пламя снаряд, и враз кончилась гулевая Дарьина жизнь.

Полынь-гора, полынь-слобода, полынь-судьба... но не одна же полынь!

Будто многопалубный корабль, высится бело-зелёный клин горы. Его режет противотанковый ров. После войны он был ущельно-глубок, а ныне — бурьяны вровень с кромкой; концами он упирается в подгорные улицы — Крымский краёк и Пристенную. Пристенная — у самого изножья обрывной кручи — речные ворота слободы.

Послевоенными вечерами Пристенная улица часто взрывалась трубными, странными, ранее не слышанными здесь звуками. «Курганов нечистой силе побудку трубит», — посмеивались остряки, охочие перемыть кости любому заезжему. Курганов, оркестрант Большого театра, приобрёл здесь домишко, оставив театр и столичное музыкальное училище, — неужели для того, чтобы предаваться в глухомани ностальгии на трубе, занятию, здесь казавшемуся бессмысленным? Но Алёше в сумеречных торжественно-скорбных звуках чудились тайны и незримые силы, которым дано соединять землю и небо; густого тона труба извергала сильные звуки — может, из «Князя Игоря», может, из «Кольца Нибелунгов», может, вообще ниоткуда... взывание каких духов... И чуялось в долгом зове трубы несбывшееся, высокое; звуки, ударяясь о кручу, ширились по лугу и реке, их не слышал Большой театр, но полевая даль внимала им. И пронизалась временная даль — с сухими травами, с пылью, взвезаемой аварскими, половецкими, монгольскими, ногайскими конницами, и огонь мирных славянских костров затмевался огнём страшных нашествий, и всё сливалось в образ единой бесконечной жизни, жестокой, но и прекрасной.

Древние люди доживают свой век на Пристенной улице. Гетман, Копейка, Лихояр, Кавун, Седой... один другого древней! Целый запорожский курень! Прошлой осенью Лукьянов три воскресенья кряду приезжал в Поляну и, так случилось, всякий раз попадал под удушливое дыханье отпевающих труб. Хорошили, молодых, им бы жить да жить. А долгожители смерти не давались, сетуя: «Угораздило батькив поселиться на низах, скоро на вечный бугор собираться, а вон как круто!» По скосой пригорной улице в распутицу даже трактору не проехать, и старики по-крестьянски просили у судьбы смерти посуху, чтоб поменьше с ними было похоронной мороки.

На обломе кручи Лукьянов остановился, зная и не зная зачем. Стой он здесь хоть весь век — не увидать ему диковинного, на терем похожего дома, не услышать глуховатый голос дорогого ему человека. Одна сирень — живая.

Владимир Александрович Тресвятский (его отец, дед и прадед — «колокольные дворяне» — всю жизнь несли службы в

полянской церкви) был из тех самородков, какие случаются на Руси часто и каким природа отпускает не только дар, но и удачу — пробиться сквозь заграды напористых; долго путь от речной слободы до столицы, но, что ж, была и столица, и кафедра, учёный мир, и имя Тресвятского в том мире звучало как имя несправное и честное.

В старости профессор вернулся в родные края, выстроил домик, врезав его в приречный крутоспуск; а сверху на терраске разместилась метеоплощадка, многие приборы которой были делом ума и рук Владимира Александровича.

Художник долго стоял на обломе кручи, глядя вниз, — там сочно тянулась вверх молодая зелень: за вязом — сирень, за сиренью — крапива.

Счастливым удел: никто из институтских светил, месяцами вещавших свои учёные курсы, не дал взрослому Лукьянову и малой доли того, что он впитал мальчиком от старого профессора-земляка.

Как недавнее, художник увидел первое, лет в двенадцать, посещение терема. Оля приносила Владимиру Александровичу молоко: корова у тётки была щедра на молоко, оставалось сверх того, что требовал налог. Однажды и Алёша напросился в попутчики.

Многие вещи в доме были ему в новинку — чучела длинноклювых, острокрылых птиц, аквариум с чёрными и красными рыбками, колючие, цветшие нежнейше-алым кактусы; но всех диковин сильнее поразила библиотека. Тяжёлые, державно-торжественные, в коричневых, чёрных кожаных переплётках, с золотым тиснением на корешках старые книги победно, будто воины по крепостной стене, взбирались от пола к потолку; здесь чуялось незримое торжество сокрытой под глухими переплётками мудрости, и, может быть, впервые Алёша почувствовал, что непрочитанная книга — одна из великих тайн. Сколько же их! Почувствовал и профессор состояние гостя. Протирая в тонкой оправе очки, протирая гаснущие от болезни глаза, с необычайной ласковостью спросил:

— Ну, мальчик мой, любишь читать? — подошёл к стене, извлек из плотной обложки книг торжественное издание.

— Это тот Спартак, что на коробке с карандашами? — тихо спросил юный гость.

— Видишь, здесь у тебя уже есть знакомые.

Они поднялись на метеоплощадку, и профессор стал рассказывать про солнце, облака и дождь, перемежая свою речь поверьем, стихотворной строкой, и чем дольше он рассказывал, тем более удивительным становилось для Алёши: солнце, облака, дождь; будто живая душа занималась в них...

«Мальчик мой!» Сменялись годы, Лукьянов превратится в юношу, взрослого человека, но по-прежнему будет слышать

неизменное, ласково-врачующее: «Мальчик мой!» У Владимира Александровича единственный сын погиб в гражданскую, и чувствовалась в этом волнующем «мальчик мой!» извечная тоска живого по своему продолжению, надежда сохранить после себя своё «я».

Он, как сына, посвящал взрослому Алексею в заботы и надежды, которыми жила его душа. Он наблюдал бег облаков и ветров, делал расчёты и замеры, исследовал все почвы по округе; он вёл записи — как ведёт себя природа и всё живое в ней: когда теплеет и когда холодеет земля, когда прилетают и улетают птицы, когда появляется почка на тальниковой ветке и когда падает осенний лист; в детстве познавший недороды отчей земли и скудную, с боязнью голода жизнь, он надеялся найти скрытые токи в природе, с помощью которых можно было бы дать изобильные хлеба Родине. Год за годом, изо дня в день вёл он записи, накопив горы тетрадок; колдовал над пробами почв, смешивал их и разъединял, поливал дождевыми и колодезными водами; высаживал пшеничные зерна и часами наблюдал за ростками; ветхий старик в зелёной косоворотке, благородный сколок старой культуры, с угасшим зрением — что он пытался разглядеть через очки и увеличительные стёкла, что надеялся найти в немочных нежных ростках?

Художник был уже далеко, миновав падину, уже поднялся на Монастырскую гору, а всё не мог мыслью, душой расстаться со стариком. И Монастырская гора спешила напомнить...

Незадолго до кончины Владимир Александрович, вконец больной и незрячий, попросил Алексея вывезти его на кручи — чтоб было далеко видно; быть может, он хотел ощутить последний раз — как в детстве! — красоту мира, воскресив в себе былое зрение, былую впечатлительность души. «Оставь меня одного, мальчик мой!» И стоял, вглядываясь незрячими глазами в задонскую даль. Может быть, к нему на миг вернулось ощущение детства, ощущение бессмертности, даруемой родной далью, распахнутой с Монастырской горы. «Мальчик мой! Тебе выпадет быть вдалеке отсюда. Но не забудь земли-матери. Вернись! Помоги ей и устрой её! Чужие и равнодушные приходят — словно тати-разорители.

Родина... Теперь, прожив полжизни, Лукьянов мог догадываться, что чувствовал старый профессор на этой круче, понимая, что жизнь его на исходе. Родина — это когда сворачивается в жилах кровь оттого, что долго не видишь излучки Дона, Осокоревского круга, Полынь-горы; это когда сильнее всех нарисованных картин радостно захватывают дух цветущие сады; это когда звонкий крик слободского ребёнка наполняет душу надеждой и всего тебя пронизывает бессмертием, как если бы это был твой собственный ребёнок.

В клубе — его большая картина «Поляна в осенний день»,

тщательно списанная с природной, хотя и несколько «подправленная»: он и кинутые, пошедшие на слом, заросшие крапивою подворья изобразил живыми; он хорошо помнил старое изречение, что тщательно выписанный мопс есть всего лишь мопс, но ещё не искусство, однако здесь он менее всего думал о искусстве; на картине изображалась как бы чаемая слобода, свидетельство того, что было и есть, — одновременно.

Хотел он запечатлеть и полноцветное окрестье — кручи, Дон, луг с недвижимыми и словно бы движущимися вербами, с той удивительной нежно-зелёной дымкой, какая явилась его глазам в детстве; он родственно ощущал пришвинскую мысль о том, что мир существует таким прекрасным, каким видишь его ребёнком и влюблённым; а всё остальное делают болезни и бедность; и старость, добавлял он.

Он хотел «уловить» кистью отчую землю в однажды явленной врачующей просторности, бескрайний край, в каком он рос, — прекрасный. Но как вернуться в детство, чтобы взять оттуда ощущение особенного и света, и цвета родной, земли, неуловимые многоцветные волны воздуха над нею?

Вот он стоит на Монастырской горе. Воздух будто цветёт! И этот ветер — откуда он, куда? — вольный посланник детства; бывало, мальчиком взбирался на кручу в жаркий летний день, и прохладными казались белые облака, прохладой оведал ветер — синий, зелёный, сине-зелёный. Его мягкие волны — как цветные гривы, на миг возникавшие и тут же исчезающие.

В пойме за Доном раскинулся лес — безымянная изумрудная лава; но овражки и озёрца, осинники — не безымянные, не безродные. Очутиться бы снова в зелёной пойме, исходить полузабытые тропки. И всему — дать имя! Ибо там, где нет имени, нет и осмысленной жизни.

Дать новые имена? Прежние бы не утратить! Спроси слободских, кто помоложе, много ль назовут по округе урочищ? Разве что Ольгино, а сколько их! Вдовье, Гарь-Осинник, Шмелиное, Чернолесье, Стожарье. Даже полянки имеют свои названия, да какие: Вечная поляна, Чаемая, Лунная; есть даже Ясная поляна. Овраги и те не безымянные: Крутой, Змеинный, Безмолвный.

В одной пространной филологической статье он вычитал, что ежедневно в специальной периодике появляется до полусотни новых слов и значений; «что за слова?» — поинтересовался у знакомого программиста; смеясь, тот прострелил очередь из дюжины словоконструкций — механических, лишённых души и благородной звучности, искусственных, как эсперанто, равнодушных, как эсперанто; и добавил, что, разумеется, всё это можно было бы вполне выразить отечественными словами, как делал в своё время Ломоносов; впрочем, закончил, не надо быть гением, чтобы обходиться без тарабарщины. Но многих — несёт поток...

Подолгу останавливаясь, Лукьянов добрался наконец до машины, никем не потревоженной, но до стёкол забрызганной приехшей грязью; не первой свежести был и салон; пришлось вынуть из багажника бочонок с водой.

Возвращался он целинной дорогой — она выходила на Краёк, к хате Веры Николаевны, где остановилась Ольга. После вчерашнего он испытывал двойственное чувство... он так и не решил ещё, как поступить, но всё решилось без него и вдруг: Меловатская вынырнула из-за угла соседней с тёткиной хаты, неся миску с ростками капустной рассады.

Алексей резко затормозил. Ольга поспешила к нему с той радостной улыбкой, вызываемой хорошей неожиданностью, с той молодой, безоглядной доверчивостью, видя какую чувствуешь, что в человеке в этот миг живёт только правда; никакого второго дна, ничего иронического, сценического... Справилась о здоровье. Мягкой ладонью прикоснулась к его шее с лилово-красной полоской кровоподтёка. Самочувствие? Как у самого здорового среди нездоровых, отшутился он и вдруг неожиданно для себя предложил ей вместе проехать полем вокруг слободы. Она согласилась не раздумывая; попросила чуть подождать, пока переоденется.

Для Лукьянова, в сущности, было всё равно, — так ему по крайней мере представлялось, — в каком она платье: алом или синем, ситцевом или трикотажном. Оказывается, вовсе нет. Когда она четверть часа спустя появилась вновь, это уже была будто другая женщина. Летящая! Белое платье — воздушное, изысканное — легко сбрасывало её годы, воскрешая в ней её юность. Он сказал ей об этом и спросил, как ей удаётся это преобразование. Она рассмеялась. «Маленькие женские хитрости. Первое оружие женщины, знаешь, какое? Как она выглядит одетая. Да одетая! Ну, а второе, — естественно, — какова она первородная».

Он не без любопытства взглянул на неё, может, и побаиваясь в ней этой безоглядности. Почувствовав его состояние, она приподняла руки, словно бы отталкиваясь от невидимой преграды. «Я ни при чём! Так считают итальянки. Или француженки. Или испанки. Словом, они! Там!» — опять, как шаловливая ученица, рассмеялась. Словно весенний хмель бродил в ней.

«Жигули» без натуги одолели косогор, медленно покатали вдоль окраины леса. На верховине Крутого лога, на стыке леса и поля, под густокронной белой грушей остановились. Начало Кругому логу давали три обрывных оврага — будто великанская трёхпалая лапа грузно продавала землю; просторный лог — как травяной, кустарниковый, редкоствольный рай: на склонах ягодники в ковыле, по крутизне взбираются вверх мохнатые боярышники, на дне — видимая груша и невидимый терновник.

Живое, молодое, зацветшее полонило всё вокруг своими звуками, запахами, красками; в белой кроне чисто и целебно жужжали пчёлы, пропахшие цветущими боярышником и грушей; высокий жаворонок пел — для себя и для всего мира; солнечные пятна, зыбкие зайчики покоились на капоте, на стёклах машины. Было тихо. «Всё во мне, и я во всём...» — такая слитность, растворённость и родственность в окрестном. Он открыл стёкла. И опять, как вчера, коснулся её плеча. Не выходя из машины, они приклонились друг к другу. И долго сидели так, будто прислушиваясь к себе. Что это? Воскрешаемая юность, верность их прошлому? Страсть? Память? Боль душ, когда-то близких, но разьединённых жизнью? Он поцеловал её. И целовал со всезаполняющим ощущением уже неотвратимого провала в горячий мрак...

Пел высокий жаворонок, и солнце проникало сквозь грушевые ветки, колебля зайчики на машине, и белая крона привлекала пчёл.

Что-то смутное пыталось всплыть в его сознании, и было оно — как заноза. Вдруг он понял, отчего эта смута. Он вспомнил... невидимый терновник. «Место действия, — ядовито, с опустошённостью подумал он, — место действия». Да и машина... Он — одно к одному — вспомнил, что у Эраста Пташлина, искусствоведа, коллеги по Союзу художников, точно такие же, бирюзового цвета «Жигули», правда, салон не чета Лукьяновскому — воплощённый комфорт, нега; японский магнитофон с томными и вожделенными голосами на разных языках, миниатюрный бар, мини-холодильник, синяя подсветка салона, бирюзовые занавески, голубые меха на сиденьях — голубое ложе, всегда готовое принимать... «Не хватает бирюзовых занавесочек», — язвительно подумал Лукьянов.

Он словно бы вновь увидел Ольгу: она была совсем близкая, но и далёкая, сникшая; всё в нём занялось нежностью к ней, замкнутой, и, обняв её, родную, но и чужую, он осторожно спросил:

— Мы чужие?

— Нет! Нет! — встрепенулась она. — Но... — Она запнулась. — Но... — Она трудно, будто пытаясь освободиться от невидимой тяжести, искала слова и вдруг — решительно, освободясь: — Сначала твоя Ира украла тебя у меня, а теперь я краду тебя у неё.

Они поглядели друг другу в прежние глаза; никто их не мог рассорить; никто, кроме них.

Просёлок был распахан, они ехали кружным путём, медленно огибая овражки, которых раньше не было; два цвета властвовали в поле — зелёный и чёрный; два цвета странно соединились в их душах, желавших молчать, желавших говорить.

Купа верб и островок камыша завиднелись в сторонней падинке — там был родник Лосиный.

Внизу открылось Задонье, Дон, — слободской берег; по нему длинной чередой густо выстроились тополя, как могучие оперённые стрелы, наконечниками воткнутые в землю.

21

Может, среди бумаг отыщется и листок с изображением юной Ольги? Однажды в молодости он удачно схватил её профиль; глядя на неё сегодня утром, вспомнил тот рисунок.

В клетушечно-малом чулане Лукьянов перебрал гору хлама. Пропылённые учебники, связки тетрадей, рисовальные альбомы — неначатые, втуне пролежавшие и за временем пожелтевшие, изжившие свой век.

Однако среди ненужного ему попалась опоясанная широкой изолентой бобина с киноплёнкой, которую он в прежний приезд искал и не нашёл. В молодости он увлекался фотографированием и киносъёмкой, отснял дюжину плёнок о слободе, весёлой и грустной, эта пленка — о горестном.

Кинопроектор «Луч», в безденежной молодости приобретённый за деньги от разгрузки барж с углём, хрустко застрекотал, вынося на простенок уловленные мгновения: тяжёлые от яблок ветви, притенённая кронами трава в брызгах солнца, сынишка смешно пытается догнать Буяна, а пёсик смешно убегает, волоча привязанную к шее на веревке детскую машину. Затем несколько белых, несколько черных кадров и...

Медленно движется траурная процессия. Механически-равнодушный глаз кинокамеры фиксировал всё: надломленный грозой клён, у ветхого плетня одинокая женщина, брёвна у калиток, чёрный выплеск ворон над чёрным людским потоком. К вдовьей печали ещё печали добавить, но скорбны и мужики — Меловатский, Палий, Щербань.

Впереди, посредине улицы, в пыли — слабоумная, блаженная Соня; сидит, скрестив ноги, улыбается жуткой улыбкой, в которой, быть может, отблеск пламени и бездна. В раннем детстве от летней печки на ней загорелась одежда, вовремя никто не подоспел на помощь; огонь ожёг и потянул жилы на ногах, и она долго не могла ходить, долго по-лягушечьи прыгала, отдыхая после каждого прыжка.

Процессия совсем близко. Соня неловко вскакивает с земли и, отбежав к плетню, заглядывая в чужой двор, что-то распевает, кого-то зовёт, зигзагами пересекает дорогу, заглядывая на другое подворье. Сколько ей здесь? Лет двадцать, ласковая пора материнства, никогда не осуществимого...

Принуждая к мерному движению плёнку, похрустывал кинопроектор, и в затемнённой, с закрытыми ставнями горнице

на освещённой рамке в простенке было: идут люди. Иных он не видел давным-давно, иных уже и не увидит.

В кинокадре, может быть, заключалось преимущество перед фотографией, даже перед холстом: здесь жило движение! Чреда движущихся мгновений.

После просмотра киноплёнки Лукьянов стал рыться в старых фотографиях — те, сокрытые двойной темью коробки и чулана, тоже долгие годы не занимали человеческих глаз. И тоже — возвращалось невозвратимое.

Чёткий снимок, без обычного мертвенно-жёлтого налёта — неизменного спутника старых фотографий. Чуть наклонённое лицо, огромные глаза. На оборотной стороне картона: «Художественная фотография Георгиевского. Снимки вечером». Итак, вечер, скорей всего весенний. Солнце на исходе, зацветающая вишня под окнами фотомастерской, тоненькая девушка из Поляны, выжидающе и смущаясь, подымает взор к объективу, и что испытывает она? Любопытство? Желание увидеть себя повторённую — на снимке? Или, может, нечто родственное тому, что и поныне испытывают аборигены островного племени, — они избегают фотокамеры, суеверно и мудро считая, что та ворует их души? Милое лицо, простонародная, женственная стать, длинное холщовое платьице. А в углу фотографии — муза искусств с палитрой и кистями и, как полагается, ангелок, взглядывающий, разумеется, невинно, из-за портьеры, да ещё вензель досточтимого господина-товарища Георгиевского; реквизитный угол задавил бы всю фотографию, если б не огромные чистые глаза.

...И более всего запомнил сын лицо матери и её глаза — в обрывном страдании, в отчаянии, когда в давний весенний вечер бежал по Медвянке Петька Палий и не своим голосом, словно удивляясь, кричал: «Убило! Убило!»

— Кого? Кого убило? — удушенно вскрикнула она.

— Моего брата убило!

И мать, бледнея, краснея, крестилась и шептала: «Господи! Господи!»

Долгая боль, видимая мука матери при каждом взрыве. «Боже Праведный, Боже Милосердный, спаси нас, грешных!»

— Может, хватит смерти искать? — сурово-бессильно спрашивала, когда принимались ужинать.

— В Ольгином урочище тёлка покалечилась на mine. А если б кто из слободских? — укоризненно отвечал пятнадцатилетний сын; чувствовалась в нём такая взрослость, уверенность в том, что он высвободит село из-под губельного ига разбросанного по родной земле враждебного железа, что мать умолкала. Будь дома отец, тот попридержал бы сына, но отец сам ходил под минами и по минам, которыми начинены были поля и хол-

мы войны. А для Алёши в опасном занятии старшего брата была своя радость — ему и его дружкам отдавал Борис минные шарики; столько стальных кругляшек, что ими, заряженными в пращи, можно было подолгу воевать против щурков золотистых; те хоть и золотистые, а хуже чёрного ворона, когда перед дождём пускались в разорительные налеты на пчёл, резко и расчётливо пикируя, как недавние «юнкерсы».

Сколько воды утекло с той поры... не получилось у них вчера разговора. Будто чужие. И сейчас где он? Малоразговорчиво хмелеет на соседней улице или в соседней слободе? Всюду у него есть приятели, где есть горькая. Так думал художник, не подозревая, что старший брат был рядом — спал в летнике.

22

Снился старшему Лукьянову солнечный мартовский день. Тихо, как бывает на стыке зимы и весны. И вдруг обвально ухает в придонских лозах; густо взлетают галки, будто пластают над взрывом чёрное крыло. Кто на этот раз? Скольким ещё не уберечься? Он стоит на мосту через овраг в Среднем яру, близ воткнутого в снег колышка с размашистой — во всю дощечку — надписью красным: «Мины». Предупреждающие красные слова всюду: в слободе, на огородах, на лугу, по дороге, в поле. Но сколько ещё мин невыявленных?

Щербань на санях проезжает мосток, сворачивает вверх по косогору. Борис замечает, как из-под санных полозьев чёрно возникают, словно взбрызгивая, упруго распрямляясь, три проволоочки-усика; чуть дальше, уже из-под старого полоза, опять недобрые усики! Пронесло! Он осторожно подходит ближе, видит, как угрюмо стынут мины в подталом снегу — тёмно-зелёные, молчаливые, многорядный шахматный расклад... В каждой мине — три сотни железных шариков. Человеку хватит одного.

Он на минном поле не первый день. Оттаивает снег, появляются вчера не видимые мины. Когда он разминировал первую, чувствовал себя так, будто мешки с песком полдня на плечи взваливал. И ранее им не испытанный озноб-колотун бил его. А теперь... и особой хитрости нет... стакан в стакане, меж стенками сотни железных шариков, какие образуют при взрыве густоразлетающийся металлический куст; латунные трубки, детонаторы, тол. Главное, чтоб не было проволоочки; и ещё — умело отвинтить капсюль.

Подходит Богдан Ярковой. Припожаловал больше из любопытства, и Борис сразу видит, что лучше без помощника; топчется, как медведь на грядке. «Мина!» — восклицает он понарошку испуганно, и Ярковой сигает в сторону, озираясь и неуклюже вытаптывая такой круг, что впору бы напороться на

дюжину мин; благо, что этот участок уже разминирован. Разобитый Богдан скоро уходит. А Борис — шаг за шагом... Опять ухаёт обвально, раскатисто — теперь уже не на лугу, а на горе. Здесь же, на немыслимой шахматной доске, остаётся последняя мина. Завтра он перейдёт на луг, но эту последнюю мину на ночь оставлять нельзя. Уже темнеет. Он устал, движения его, чувствует, неуверенные; голова и руки налиты железной тяжестью. Он выдёргивает капсуль и... беспредельно ослепительное пламя всасывает его в свои полыхающие недра. Пламенный вихрь подымает его и несёт, как щепу, в чёрно-багровом пространстве...

Он проснулся. Потребовалось время возвратиться в нынешний день. Как ему распорядиться им? Взять донки да на берег? Или в Городок? Впрочем, возвращение домой — ни ему, ни жене не в радость. Алексей? Нескладно вышло. Как неродные. Да ещё Ольга. Или опять меж ними затеялось? Ни к чему это. Хотя Оля... Он, как не раз бывало, опять ощутил в себе чувство вины перед нею: не попади он тогда на песках в беду, не разлучи их своим криком о помощи... Да что ж, устало подумал, какая, в конце концов, разница — Оля, Ира ли? Главное, есть у брата сын, а значит, и всё есть!

Борис чувствовал, как его опять забирает тоска и тяжесть. С гибелью сына ушла от него радость. И радость близких — не в радость. Как занимали его прежде дела и успехи младшего брата, а теперь будто всё омертвело в нём! Как он радовался, когда впервые увидел Алексеевы рисунки в книге! А теперь? Во многих книгах есть нарисованные братом дома, деревья и дети — дети на спортплощадке, дети на речном берегу, дети у костра. А что они? Искусственные фигуры. Разве они прекрасней, чем единственный, выпестованный им комочек жизни со странным для здешних мест именем Мирослав? Ни мира, ни славы. Холмик метр на полтора, у которого он — чего ожидая? — измучивает себя долгие часы подряд.

23

Ольга вошла без стука. Будто хозяйка. Что ж, подумал Алексей, она могла быть хозяйкой здесь. И, глядя на неё, улыбающуюся, стройную, сильную, он вновь спросил себя, почему у неё нет детей, и подумал, что, сложишься иначе, у них бы был сын, скорее — сын и дочь.

— Вот видишь, — она роняет слова певуче, колюче и юно, — пятнадцать лет не видела — не скучала, а нынче пять часов не повидала — соскучилась.

— Хочешь есть? Хочешь пить?

— Хочешь! Всё хочешь! — вскинулась она с улыбкой вызова. — Но сначала покажи свой сад.

Они прошли под белые своды груш и яблонь.

Ольга ещё больше похорошела и вдруг погрузнела.

«Сколько невестиного цвета и ни одной невесты!»

Вечное это с нею — семь пятниц на неделе.

Поверх плетня — колючие глаза. Старуха Любенчиха, хотя и поздоровалась, оглядывала их так, будто Меловатская именно у неё «отнимала» Лукьянова. Ольга сразу и поднапряглась, и повеселела, негромко посоветовала:

— Ты с этой праматерью понежней! Одними глазами засудит!

Они спустились к колодцу, зачерпнули и выпили воды, затем вернулись в дом. В горнице выстаивалась полутемь — от закрытых во время просмотра киноплёнки ставен.

Ольга держалась — дай порвать, да нечего! Подошла к зеркалу и заявила, что она, побывав во многих столицах, мало встречала женщин столь притягательных, вернее обаятельных, вернее притягательно-обаятельных, как она. Да, она! А что, он не находит? Включила приёмник, выключила. Заметила щель в старом столе, протиснула в щель ладонь, вслух немало подивилась: что здесь делать этому колченогому Мафусаилу? Вдруг спросила:

— Ты ничего не хочешь сделать здесь по-модерновому?

— То есть?

— Прошлой осенью мы гостили на даче у одного москвича-художника. Впечатляет. Камин. Бар. Светомузыка. На экране — репродукции старых мастеров. В основном Венеры. Парад нагих женщин разных веков и народов.

— Тебе-то зачем голые женщины? — засмеялся художник. — И вообще весь этот престиж-антураж? Считаешь, здесь тоже надо, как у твоего столичного знакомца?

— Не знаю. Наверное, не надо.

Она опять стала серьёзной. Вновь поглядела в зеркало, но уже ничего в нём для себя радостного не нашла, даже тень мгновенной досады промелькнула по её лицу.

Вдруг она — что увидела? — уставилась в угол, в одну точку, словно там заключался ответ на её нынешний и завтрашний день.

— Твоя жена? — спросила, указывая чуть суженными глазами на любительский — крупным планом — снимок в красном углу, том самом, где он в молодости рисовал при свете лампы.

Алексей фотографировал Иру и сына лет десять назад, снимок вышел удачным, зовущим порадоваться семейному счастью: малыш тянется ручонками к яблоневой — сплошь в плодах — ветке, а мать протягивает ему яблоко; и свет любви, материнства и кротости исходит от неё; и молодости... Ира в той поре, когда следы семейных забот и переживаний ещё не отложились на её лице, столь обаятельным, что Алексей не раз со

смешанным чувством гордости и досады замечал прицепчивые взгляды мужчин; ревнивцем он не был, но и к числу тех, кто жил по присловице «Если другим моя жена не нужна, то зачем она мне?», не принадлежал.

Ольга внимательно разглядывала снимок, меняясь на глазах, истаивая, сникая; хорошо, что хоть не глаза в глаза: у Иры пронизательный и — в нужный миг — высокомерно-казнящий взгляд, при её кротости очень некроткий взгляд; впрочем, она сейчас вся, до последнего лучика в глазах, — с малышом, ей не до них...

Алексей попытался отвлечь Ольгу, но она замыкалась, отчуждалась с каждым мигом; видение красивой женщины будто погружало её в грусть, если не печаль. «Ну, это понятно, — с иронической улыбкой в душе попытался успокоить себя художник. — Будь Ирина дурнушкой, Ольга бы ей посочувствовала. А так... Женщина — сама не своя, если ей не выпадает сочувствовать».

— Красивая у тебя жена. А главное, верная. Она тебе не изменит и при плохой погоде. И при грозе!

— Да ты откуда знаешь?

— Такие вещи женщины чувствуют! Может, и завидуют. Это только в застольном анекдоте, для публики иронизируют над верностью. Дескать, банальности рыцарских времен. А банальность эта — из самых небанальных. Вот глаза твоей жены... Как она обожающе смотрит на ребёнка! Это же она на тебя так смотрит! Сын похож на отца, вот она... — И вдруг неожиданно: — Любишь её?

— Что бы я не ответил, согласись, ответ важнее для неё, чем для тебя.

— Как знать, как знать!

— А насчет верности... Ты бы послушала какого-нибудь ковбоя от искусства. Переспит с несколькими любительницами переспать и воображает, что весь женский мир в этой его обойме; лишь заикнись про верность — он сразу же другому лихо подмигнёт, дескать, пойте про верность, толкуйте про пульс, а мы-то знаем, что пульса нет. Комплексами женщин, всех без исключения, наделит, дескать, одна — от примитивности чувствований, другая — от их изощрённости. Хотя, может быть, пушкинский Дон Гуан подтверждает это...

— Да, но Пушкин своей Татьяной и опровергает! Да и вообще дай женщине веру — она станет ждать единственного. Во всяком случае, твоя ждала бы. — Она с новым оттенком, испытующе, взглянула на фотографию.

В сенях раздался грохот и вдогон ему беззлобное чертыханье: Борис зацепил и сорвал с настенного крюка цинковый таз; вошёл медведем... Увидел Ольгу, улыбнулся, чуток улыбки и

Алексею досталось. Ольга тоже обрадовалась Борису. Они разговорились о разном — столь же милым, сколь и пустячным, но за лёгкостью разговора почувялась и иная лёгкость, душевная передышка от смутного, даже тягостного. Младший брат видел, что старший на миг победил свое обычное состояние равнодушия, тоски, а старший тоже про себя отметил, что младшему хорошо — оттого, что они, трое, словно заодно; и Меловатской, чувствовалось, стало свободнее, легче.

Но скоро Борис, сказав, что приготовит поесть, оставил их.

А в них — будто что-то оборвалось, ушло из них. Они долго молчали.

— Хороший рисунок ты подарил мне в третьем классе, — сказала наконец Ольга. — Солнышко над садом. Помнишь?

— Солнышко над садом? — удивлённо переспросил Алексей. — Я тебя после десятого пытался нарисовать. Даже нарисовал в профиль. Сегодня весь чулан перерыл. Нет, как и не бывало.

— Как и не бывало... — повторила она. И поскуцнела. — Так и должно было случиться. Уж если ты потерял меня, то стоит ли сберечь весь этот реквизит — письма, снимки, рисунки? Это как долгие и несладкие ледышки во рту, только мешают.

Борис пригласил их к столу. Произнёс тост за встречу, но как-то скучно. Ели без охоты, больше говорили, чем ели, хотя и разговаривали без прежнего сближающего чувства.

После еды старший стал собираться на рыбалку — достал с чердака снасти и жмых, стал проверять прочность жилки, вязать недостающие крючки. Вскоре ушёл.

Заторопилась и Ольга. Алексей стал упрашивать её остаться, но она отказалась; пообещала встречу завтра, хотя уже знала, что встречи не будет. Алексей догадывался и не догадывался.

После её ухода он полностью растворил ставни, наполнив горницу заходящим солнцем; извлёк уложенные в чемоданы листы плотной бумаги, карандаши, пастель, разложив их, сел за стол. «За старинное дело своё». Но карандаш в руки так и не взял; долго и невидяще глядел в окно, на тонкую акациевую ветку, колеблемую прыжками серой птички, долго сидел неподвижно. Увы, рисунки и полотна бессильны сказать о главном, они ничего не исцеляют, ни от чего не освобождают.

Он вспомнил, какой счастливый рисунок дарил Оле в третьем классе.

Его сверстнику Петьке Палию столичный родственник привёз три коробки акварельных красок. Воскресным днём состоялся торг: одна коробочка досталась Кольке Очередко, другая — Алёшке; не задумываясь, он отдал за неё перочинный с красной ручкой нож, глиняный свисток и горсть шариков из минной капсулы.

Старший брат изготовил кисть — продолговатый обломок вербной коры с распушённым концом, и Алёшка, волнуясь, как перед прыжком в темь, макнул кисть в корытце с краской, провёл по листу лёгкую полоску. До этого он рисовал углём, реже — цветными карандашами. Спешил показать Оле неожиданное сокровище; а она в тот день заболела, и в школе её не было; за урок он нарисовал свой первый акварельный рисунок. Розово кипел цветущий сад, над ним вздымалось солнце с весёлыми лучиками; солнце ласково взглядывало на зацветший край... глазами Оли — удлинёнными, чуточку раскосыми и печально-радостными.

То было — как в другом мире и другой жизни. А какую нарисовать Олю — Ольгу теперь? — верную и изменчивую, ломкую и жёсткую, ранимую и колючую. Какую? Ольгу Степановну, сотрудницу «Интуриста», исплававшую тёплые и холодные моря в круизе вокруг Европы, мимо Гибралтаровых столбов, как мечталось в юности? Или Олю, уроженку Поляны, не могущую оборвать с нею последней нити, помнящую, откуда она?

Ольга... А там Ира бьётся в четырёх стенах (нервная работа на износ, хрупкое сердце, сын часто болеет, постоянные бессонницы, вечные хлопоты, достань то, чего нет), и не он ли обещал ей быть опорой в жизни и уверял её и себя, что она ему послана судьбой?

24

Старший Лукьянов миновал колодец пониже сада и вдруг повернул назад. Он почувствовал, что привычную душевную тяжесть рыбалкой не снять. Верней — просто отдохнуть на сеновале, может, удастся провалиться в забытье. «Опять сарай! — невесело улыбнулся. — Настроение — хоть на осину лезь!»

В сарае при закрытой двери — темь, но вскоре она просветлела; солнечные лучи проникали в дверные щели, в два окошка, заколоченные досками. Ворох сена — постель до глубокой осени. Лежа на сеновале, он вдыхал почти истаявшие тихие запахи луга, и ему становилось спокойнее.

Стены этого пристанища — ещё довоенной поры; сарай чудом уцелел в оккупацию, хотя часть верха и дверь были взяты на блиндаж; возвратясь в феврале сорок третьего с дальнего хутора, он исходил позиционные укрепления, вернул и потолочины, и дверь; приволок также походную, с рубчатыми стенками печку, из досок сколотил топчан. Когда позже вернулись мать с Алёшей, сарай являл собою вполне сносное жилище: тепло и сухо; да и хлебушко нашёлся — откопали припрятанный ящик с рожью.

Взятая ржавью печка обреталась в дальнем углу среди ненужного хлама; в полумраке Борис разглядеть её не мог, но

знал, что она там. И неясное видение докрасна раскалённой печки, в зимний сумеречный час освещающей угол неверным свечением, наплывало на него из давней поры. И снова настигла его погибельная семипотная страда сорок третьего года.

Две наши роты наступали через Поляну — разведкой боем; многие полегли в слободе и вокруг — на острове, на кручах, в поле: сразу же по возвращении слободские (после сапёрного «первопутка» — спешного прогляда окрестностей воинской сапёрной командой) стали подбирать убитых, чтобы похоронить в братской могиле. Матвей Захарович Старишкин возглавил сапёрно-похоронную команду, в основном из подростков, прошедших при военкомате более чем ускоренный курс молодого бойца-сапёра.

Скоро, однако, команда распалась, на третий день вышел один Борис. И на четвёртый, и на пятый... Начиналось утро, он брал санки и направлялся в поле; Старишкин проторённой тропой шёл рядом, а когда попадали на опасное поле, приотставал, держался поотдаль, время от времени крича наказ; впрочем, наказ был неизменен — чтоб напарник был поосторожней, да чтоб оставлял на санной колее вещмешок, бумажник, медальон, чтоб снимал часы, если есть. Ну и опять — чтоб поосторожней! «А почему вы не рядом? — просил однажды подросток. — Вдвоём быстрее бы управились». Невзрачный — после Борис узнал, что Матвей Захарович, дабы придать дородность своему телу, натягивал две пары нижнего белья, — начальник команды проговорился: «Ты же один, ты неженатый. А у меня семья». Так они и продвигались родным враждебным полем: подросток, уже научившийся обращаться с минами, правился к убитому, осматривал и укладывал его на санки, оставлял на колее вещмешок, а сторожоко ступавший позади — на расстоянии — взрослый подбирал. В вещмешках хранилось нехитрое солдатское имущество: кружка, фляга, бельё, нож; однажды — кусок материи. Старишкин обещал: «Будем отсылать родным погибших!»

По весне Борис увидит на его дочери золотистое шёлковое платье. «Откуда это у тебя? — спросит, наливаясь недоброй догадкой. И сам себе ответит: — Это же из вещмешка убитого!»

Но до весны было ещё далеко, и долго ещё, изо дня в день, познавал он жуткий урожай войны — подбирал, и свозил их, подбирал и свозил... Притоптанный шагами снег, той зимою обильно лёгший на землю, долго не таял — даже в апреле держался; и когда Борис проходил весной своими зимними тропками, не раз видел, как в шаге от тропки, а бывало, и на ней топорщатся усики немецкой противопехотной мины- «лягушки»; тяжело было двигаться по глубокому зимнему снегу, а оказывается: спасителен был.

Погибшие явились и по весне. Наши наступали через остров, потеряв многих; подобрать их всех не успели, потому что занялась метель и в высоких бурьянах и лозах погибших замело. А когда по весне остров залило полой водой, убитые стали всплывать, и их потянуло к слободскому берегу — к живым! Всё это казалось дурным сном, потому что цвели фиалки, зацветали сады и черёмушники...

Но — не сон. Борис держал в руках письмо убитого — совсем молодого, может, годами пятью старше его; строки расплылись, ничего нельзя было понять, но три слова, выписанные резко и крупно, он разобрал: «Жди меня, Люба!»

Годы спустя — будто убитые, подобранные им, переселились в него. Годы спустя он всё ещё продолжал — во сне — возить санки с убитыми...

Это письмо с заклинающим «Жди меня, Люба!» Оно время от времени напоминало, тревожило не только его, но и младшего брата. Алексей даже загорелся мыслью о «Реквиеме». Показывал наброски — водополье, пышный куст белой черёмухи, притопленной вешней водой, на взгорке — солдат, склонённая над свежим холмиком стриженная голова, полоски-строки из рваных зыбких букв, составлявших слова: «Жди! Дождись! Не забудь!» Эти полоски-крики устремлялись в угол, где, едва видимая, проступала фигура молодой женщины; за нею — неисчислимыми женскоименными цветами на высоких поникших стеблях — угадывались её несчастные подруги, которые ждали и не дождались.

25

Резко хлопнула сеничная дверь. В дом Лукьяновых заявился Крайков. С порога забалагурил:

— Братень твой медведем залёг, не подынешь. Склонял его на доброе дело, так нет, осени, говорит, дождёмся. Да разве добрые дела откладываются? Они что, каждый день у нас? Осенью вода вовсе уйдёт!

Он польхал ещё долго, пока наконец художник не уразумел, чего он хочет, — прочистить Лосиный родник.

— Мы с Лукичом сруб заготовили. Старый — воробьиного гнезда не удержит. Труха, а не сруб!

Алексей и сам, ещё прошлой осенью, собирался воскресить в родниках угасающие токи. Однако вечное: завтра, завтра...

Вскоре они уже были на месте. Извлекли из салона и багажника срубные плахи, достали лопаты, верёвки, ведра. Разобрали сотлевшие венцы, установили новые; много времени это не заняло, так как можно было стоять на дне: воды не было; правда, когда копнули на штык, пробилась тоненькая струйка.

— А какой родник бил! — сокрушённо воскликнул Иван. — Уходит водичка. Погорше, чем когда уходит женщина.

— Ну да, — засмеялся Алексей, — зайкнись тебе благоверная об уходе — не так запоёшь.

— На то она и благоверная, чтобы быть верной, — скаламбурил Иван. — Надежда верна мне, как прежде. — И уже серьёзно: — Это всё случай — Надежда, иль Тоня, иль Соня. А представь, Дон уйдёт! Ничто его не заменит. А в почве-землице, поди, уже не одна река иссякла. Братень твой и премиальные за это получал в своих экспедициях. И вот дела: где воды не надо — там она есть. В шахте, бывало, сочитя, сочитя... Глядишь, за смену — озерко в забое!

На увале остро сверкнула стёклами белая «Волга». Она катилась не спеша, как-то неуверенно, будто заплутавшись; вдруг свернула с дороги и подъехала к роднику.

— Гляди! Секретарь пожаловал. Мы ему, что ли, понадобились? — удивился Крайков и размахисто подошедшему к ним Загуменному — ещё до приветствия — весело кинул: — Что, Виктор Андреевич, родниковой водички испить захотелось? Или нас повидать?

Загуменный улыбнулся той почтительно-ироничной улыбкой, какой младший улыбается старшему, понимая, сколь многоречив старший. Впрочем, он принял шутливый тон и спросил, не заменяют ли они в объятиях природы родниковую воду иной, скажем... «Столичной»? Нет, отвечал Крайков, они чисты, как детская слеза.

Перебросились несколькими словами, после чего Загуменный попросил Лукьянова встретиться с ним завтра. Он вскоре уехал, а Лукьянов и Крайков ещё долго оставались у родника, и Крайков всё сетовал неизменным своим сетованием: «Эх жизнь! Полюбишь Наташку, а у Наташки Сашка!»

26

Наутро, подойдя к клубу, — здесь Лукьянов условился с Загуменным о встрече, — он испытал терпкое чувство, какое испытываешь не однажды в жизни, встречаясь со своим прошлым. Приземистое зданье. На двери замок — столь внушительный, будто он сторожит дверь, за которую удалось упрясть все сельские невзгоды. В бригадной избе Лукьянов взял ключ, открыл дверь. Внутри давно уже убраны раздвижные перегородки. Давно улетучилось эхо его детского голоса, не услышать мерного гула урока, весёлого гомона на переменке. Давно здесь нет школы. И отсутствие детского смеха художник ощутил как утрату.

Два крайних окна — его класс. Он подошёл к окну — вернулся к себе былому, в дни тридцатилетней давности. Весен-

ний белый косогор, за яблонями молчит церковь, тревожно молчит; кажется, ещё миг, и зазвенит колоколами. Зато в овраге, в близком терновнике, витом-перевитом хмелем, гремят соловьи.

Он рисовал овраг, цветущий косогор, церковь на полухолме; но чаще всего, изо дня в день — немирное: танки, самолёты, пушки; особенно танки — одиночные, колоннами, россыпью по красному от взрывов полю. Он их изобразил столько, что обернись они настоящими, их быхватило на две Курские дуги.

Колька Очередко — тот рисовал Дон; едва брал в руки карандаши, как синяя полоска реки устремлялась, ширясь, в низ листа, и на реке были лодки, детишки купались. Солнце, мир и радость; а у Алёши Лукьянова даже Дон был немирен; берег опутывали ряды колючей проволоки, грозными скрестьями ощерялись «ежи», а в воде — полузатопленный, с высоко поднятым стволом танк.

Рисование в школе и за урок не считалось: так, баловство. Но у их учительницы Екатерины Павловны было всерьёз. В пример другим она показывала Алёшины рисунки, особенно его копии с учебных картин: заяц на зимней опушке, изба лесника, берёзка у пруда, былинный дуб в поле, цветы в вазе, ромашки на лугу. «Рисуй, Алёша, станешь художником», — не раз говорила она ему, и глаза её — глаза матери, чей единственный сын — тоже рисовал! — погиб при штурме Кёнигсберга, туманились страдальчески и с надеждой.

Разумеется, никто ему не рассказывал о натуре, перспективе, тональности. Попусту истраченные листки, наивные линии и краски? И что ж, нынешний, взрослый, он сильно бы изругал себя тогдашнего, беспомощного? Или сказал бы: «Не выпускай из рук карандаш, крепче держи его!» И будь так — он бы достиг куда большего; разумея под «большим» отнюдь не лауреатские звания, премии и выставки.

А может, у него, взрослого, стыд оттого, что он, крестьянский сын, перестал пахать и сеять, изменил многовековому делу своего рода? И то, что он рисует и как он рисует, — в сущности, ничего не значит? Не значит, даже если бы стократ талантливей. Ибо никакая кисть, никакие линии, краски и тон не уменьшат в мире боли.

Зерно, которое он взращивал, — это сущее.

А вот его картины?

Лукьянов не заметил, как Загуменный вошёл внутрь. Приветствовав, спросил, не забыл ли разговор в день Победы.

Секретарь просил нарисовать лучших людей Поляны; а ещё бы — картины весенней слободы и летнего страдного поля. Как замечательно удалась «Поляна осенняя»! Загуменный подошёл к картине, висевшей на глухой стене, постоял, разглядывая её, — будто впервые.

— Хорошее начало эта «Поляна», — сказал он, — а там, глядишь, образуется и у нас своя Третьяковка.

Иное из того, о чём просил секретарь, было художнику не внове и, разумеется, по душе; в его папках ждали своего часа наброски, эскизы Поляны весенней — чаемой картины.

Виктор Андреевич словно почувствовал это его состояние. Пристально глядя на Лукьянова, сказал:

— Переезжал бы ты к нам. Жене работа найдётся. Хватит жить на два дома. Вижу, тянет тебя сюда. Да и за Бориса надо бы побороться. Не там он плавает. Способный мужик, а раскис. Пытался говорить — уходит. Хотел предложить дело покрупнее — на возраст кивает. Плохо, брат...

Это «брат», с горечью произнесённое, мгновенно высветило то, в чём боялся признаться себе Лукьянов всякий раз, когда приезжал в Поляну.

Борис, на плечи которого легла и война, и забота о семье и о нём, Алексее, с детства привыкшем великодушие старшего брата принимать, не оглядываясь, с эгоизмом младшего, в последние годы отдалился, замкнулся. Почему? Алексей остро ощутил себя виноватым.

Отцовский дом был той пристанью, куда он всегда мог вернуться в трудный час. Он привык думать, что брат неизносим. Но время — всему и всем.

Да, он вернётся. Вдвоём с братом они приведут в порядок отцовский дом. Где жить, как не на земле, взрастившей их? Земля родная вновь сблизит их.

Загуменный предложил взглянуть на утренние поля.

Они ехали на «Волге» мимо Крутого лога и скоро очутились у вчерашнего родника. Широко вокруг стлались поля. Остро чувствовались свет и цвет. К Лукьянову словно вернулось ровное, полнокровное состояние юности, слитности с окрестным. Когда вспахиваешь, засеваешь и пожинаешь поле, это даёт чувство долгой твоей жизни — и до тебя и после тебя. Такими же чувствами был захвачен и Загуменный.

Они стали вспоминать, как ранней весной бороновали, как поздней осенью пахали, часто, случалось, в полночь, в глухой первобытной тьме перемигивались фарами тракторы, чувствовались в этом молодая тайна и вера; да, согласились, была и тайна, и вера. Совсем недавно — четверть века назад.

Секретарь вдруг усмехнулся, и художник вопросительно взглянул на него.

— Вчера выступал перед выпускниками. Уходят молодые из колхоза. А как без них? Пшеница сама по себе не растёт. Вот и убеждал их часа два — вроде бы что-то строилось в них. Пообещали остаться. А я вечером пришёл домой да за ручку. Подумал, выступить бы в газете со словом к молодым, мол, любите отцовский край. А получает-

ся на бумаге — какое-то скучное поучение. Да ты погляди по старой памяти, а?

Он извлёк из нагрудного кармана вчетверо сложенный лист, мелко, но разборчиво исписанный. Знакомый, но уже подзабытый почерк: лет десять уже, как они не переписывались. Слишком мелкий почерк — нет в нём той размашистости, которая бы говорила об уверенности сказать миру новое слово. Впрочем, давно уже его друг перестал думать об этом.

«Широкие поля в хлебах, зелёные лога, прячущие укроменные перелески. Что волнует нас так? Разве эти поля и лога — иные, чем в другом полушарии? А потому волнует, что здесь — наши корни. Такое, с чем человек во все века живёт и умирает. «Мы уходим в неё и становимся ею, оттого и зовём так свободно своею».

Алексей улыбнулся, читая и узнавая Виктора.

«Но земля не только родина. Она почва. И у почвы своя жизнь, своя юность и старость, свои беды и трудности. Так называемый закон убывающего плодородия почв — пессимистичен и настолько спорен, что его лишь условно можно назвать законом. Однако спорить с ним надо не словами, а делами. В нашем крае произрастали сильные пшеницы, где они сейчас? Выходит, что территория та же, да чернозём не тот. Богатейший в мире чернозём, принятый наукой за эталон, — и не тот? Отчего так? Не главная ли причина — чрезмерное принудительное напряжение почвы, потребительское отношение? Но истина старая: взять надо столько, сколько и отдать. Разумеется, воздействуют радиационный и химический фоны, но разве только от них исходит опасность? Убывают грунтовые воды. Распахиваются пойменные земли. Мы увеличиваем, нагнетаем искусственное орошение и засаливаем почвы — чахлый колос вырастает на них.

Учёный в страшные годы конца прошлого века, в годы смуты, засухи, голода, кровью сердца написал книгу «Русский чернозём», он предупреждал: Чернозёмный край — богатейшая житница России — под угрозой; он предлагал органическую, естественную, живую помощь природе — жизнотворящие лесные полосы, пруды на месте сухих балок.

Негоже отказываться и от многовекового опыта крестьянина.

Ни учёный Докучаев, ни безвестный крестьянин из Поляны не стали бы распахивать пойменные земли. Луг тысячи лет был лугом. А мы со своей жаждой немедленной пользы оказались «умнее» и учёного, и крестьянина — распахали заливное побережье и с успехом выращиваем кабачки и... будущие проблемы!»

Несмотря на то, что в последних словах таилась усмешка, Лукьянов не усмехнулся; он вообще уже не улыбался. Он вспомнил, как в молодости распахивал Зелёный Клин — пой-

менный луг, на котором в детстве, по пояс в траве, рвал щавель и одуванчики; тёплым августовским днем он пахал у самого Дона, несколько раз на день подбегал к воде, чтобы ополоснуться; и меньше всего думал о том, что делает.

Голос Загуменного вернул его к сегодняшнему:

— Кому что, агроному — своя хвороба: приснилось вчера — пшеницу в болоте сеял.

— А мне недавно снилось — пшеницей засеивал пески.

— Это мать-земля нас журит, — невесело пошутил секретарь. Заговорил серьезно: — Конечно, при любви и старании и на песке можно что-нибудь вырастить. Помнишь старика Тресвятского? У того и на мелу, на глине росло.

— Тресвятский — один.

— Ну почему же? — возразил Загуменный. — Он некоторое время помолчал и продолжил: — Да, нам любви к полю, к земле не хватает. Людей не хватает. Молодых — много ли их в нашей Поляне? Разъехались, а теперь попробуй собери! Говорим: приобщать молодых к земле, воспитывать любовь к отчему полю. Лозунгами и статьями... — Он вновь помолчал и закончил с усмешкой: — Записками под стать моим не больно много добьешься.

— Нужны и записки, — сказал Лукьянов. — По-моему, в них есть стоящее. Только построже. Думаю, что найдёт отклик.

— Верно? — оживился Загуменный. — Знаешь, судя по тому, как слушали мой рассказ выпускники, всё это не в песок. Надо, чтобы они потянулись к отцовскому полю. Говорим о трудовом и эстетическом воспитании, бог весть какие велосипеды изобретаем, а по-умному, вот оно — поле Труда и Красоты, здесь всё лучшее в человеке можно воспитать!

Лукьянов, соглашаясь, добавил, что оно ещё и поле Памяти.

И памятью своей он уже видел себя здесь в солнечный день весны сорок третьего. Цветут боярышник и груши, а меж весёлых кустов — сильные угрюмые окопы, взрыбленный ямами склон. Они с Борисом оглядливо искаживают склон в поисках гильз и трофейного хлама. На земле — цветущие травы и кустарники, в небе — песня жаворонка. И вдруг... приклоняясь к винтовке, выкинув руки вперёд, грудью на бруствере немец. Как живой. Он будто поджидал их, он целился в них. Горсть гильз валялась в окопе, у его ног. В кого-то из наших стрелял, в кого-то попал.

А в стороне кинута ржавел давнейковки лемех, может быть, от плуга, каким пахал дед; но на фронтовой полосе лемеху ничего не остаётся, как ржаветь.

Лукьянов будто нырнул в давний день и был подобен водолазу, на которого давит столб воды — его прошлое.

Но странная участь: он и теперь думал об Ирине и Ольге.

Спешить было некуда, и обратно он добирался пешком.

У дома три легковых машины слепили под солнцем ножевыми взблесками никеля, сверкали рубиновой, бежевой, бирюзовой красками. Лукьянов обрадовался гостям, хотя и немало подивился: в областной организации художников не было людей более разных, чем Коробов, Лодченко и Пташлин. Что за нужда или радость свела их вместе? Глядишь, скоро и в одной машине станут ездить, голубками ворковать? Правда, художники были каждый сам по себе: Коробов, сидя на мшистом вербном комле, что-то записывал, Пташлин скущаяще прохаживался вдоль плетня с видом человека, повидавшего всё, чем Господь одарил человечество, а самый старший Василий Васильевич Лодченко вертел в руках и тщательно разглядывал армейский тесак — как былинный меч. Он первым увидел Лукьянова и весело шумнул своим попутчикам:

— Встречаем князя полянского! А почему без дружины князь? А чем встретит нас, грешных? Медовухой иль оплеухой? Незваных гостей — как встречают?

— Пусть покажет нам колодец, откуда вдохновенье черпает! — громовым голосом протрубил Коробов, поддерживая дурашливый тон старшего.

— Веди, веди нас, грешных, в сад. Если не вдохновенья, так репейника наберёмся, — продолжал шутить Василий Васильевич.

Здороваясь, все улыбались, хотя, отметил Лукьянов, улыбка искусствоведа Пташлина была слегка иронической и слегка надменной: в первые минуты встречи он не проронил ни слова, а златоуст был ещё тот!

В саду, просторном и цветущем, всех словно хмель разобрал. Даже обычная, медально выбитая на пташлинском лице надменность куда делась, и — забил фонтан — под грушей стал восхищаться яблоневою веткой, тут же, едва не стихами изложив энергетический трактат о силе молодости, равно заключённой как в цветущей ветке, так и в целуемой девушке; стал нахваливать грушевые стволы, которые хороши — как носители зацветших крон, но ещё лучше — стань гравюрными досками; тут же предложил Лукьянову спилить самую большую грушу, налегая на то, что хозяин не останется в убытке: ежели сам не нарежет доски, то может их выгодно сбыть хотя бы ему, Пташлину, талантливейшему среди них, а может быть, и талантливейшему среди всех. Лукьянов улыбался «искристому фонтану»: хотя образ знаком до тривиальности, искусствовед своей простотой-непростотой забавлял.

Вдруг Пташлин переметнул свой взгляд от цветших крон к межевому плетню, за которым соседка Любенчиха вскапыва-

ла гряды, успевая и кур отогнать с гряд, и на приезжих приценивающе взглянуть.

— А ну-ка испросим мудрости у почтенной старицы! — вскинулся Пташлин и отмашистыми шагами устремился к плетню.

— Мудрости или самогонки? — насмешливо спросил вдогон Коробов, но Пташлин уже был у соседского огорода.

Разговаривал он с соседкой недолго, но пока разговаривал, Лукьянов испытывал неприятное чувство, словно боясь, что Пташлин не понравится Любенчихе, или же Любенчиха, вдруг открывшись своей сутью Пташлину, явит ему превратный образ слободы; казалось бы, что за беда? — для него мало значило, что думают Любенчиха или Пташлин, и всё же он словно бы хотел подслащённых пилюль и досадовал на это своё минутное желанье. Впрочем, Пташлин скоро вернулся, миролюбивый, без обычной своей надменно-снисходительной улыбки.

Лукьянов предложил гостям подняться на Полянью-гору, но художники в голос заявили, что у них на Поляну осталось не более часа, что их ждут в соседнем районе, на торжественном открытии Дома культуры. Всё же часа полтора они прогостевали. Хвалили и сад, и хатку, пристрастно разглядывая всё, что в ней было. Василию Васильевичу понравился патрон-каганец, и Лукьянов подарил его ему, шутливо уверив, что он придаёт особенный эффект краскам. Пташлин, разглядывая прикнопленные к стенке эскизы — портреты полянских, стал учительно выговаривать Лукьянову: «Что за капелла? Галерея местных передовиков? Зачем тебе это? Ты же чувствуешь цвет, чувствуешь линию...» — и понёсся, и понёсся... он мигом так заважнел, словно было: сам Рафаэль, принимаясь за «Сикстинскую мадонну», испрашивал у него совета, как кисть держать и на полотно сколько какой краски положить.

— Красиво излагает! — не удержался Коробов, доброизлучающими глазами подмигнув Лукьянову. Тот улыбался и обычной своей неприязни к Пташлину не испытывал: разумеется, пташка, выпорхнувшая из ниоткуда, пустоцвет и скорохват, но забавен, в своем роде даже мил. Лукьянов словно бы забыл, что не сошёлся с «милым» уже при первом знакомстве. Была выставка, а после, как водится, выпивка. Банкет. Пташлин взял слово и лихо кинулся ниспровергать русский девятнадцатый век, — достаточно агрессивно, чтоб только лишь смеяться. Они объяснились. Что-то несказанно-инфантильное было в облике и манере искусствоведа, что-то козлиное, плотоядное заключалось в его занозистой, под Мефистофеля, бородачке, в блёклых, выкаченных глазах, что-то неподлинное, игровое таилось в самом имени: Эраст Иванович; тут ещё доблестный Эраст вздумал приударить за Иррой. «Я искусствовед! — представился он, приглашая её на танцы. — Я искусствовед

Пташлин!» — «Ну и что из того? — с изумлённой, убийственной улыбкой возразила Ирина. — Какое мне дело до Пташлиных, если мой муж Лукьянов!» — будто её муж был если не первейший художник, то крупнейший чин Академии художеств.

Позавтракав, гости засобирались. Пташлин вскользь заметил, что не худо бы сюда приехать поосновательней: у таких стариц, как соседка, поди весь красный угол заставлен иконами, почему бы и нет, до железной дороги далеко, глухомань; на что Коробов возразил, что если Пташлин за бесценок изловчился скупить иконы в северной части Чернозёмного края, то почему бы ещё не найтись подобному Пташлину, преуспевшему в другой части?

Василий Васильевич оборвал подначивание, напомнив, что их ждут и пора и честь знать; напоследок сказал Лукьянову, чтобы тот позвонил жене: тревожится; собственно, из-за этого они и решились на немалый крюк.

Художники уехали, а Лукьянов ещё долго думал о них, о жизни, которая всё смешивает, перемешивает, заставляет сталкиваться на одном плацдарме самых разных, живущих по-разному, думающих по-разному. Конечно же, в одной машине они ехать не могли. Разные. Ещё можно понять Коробова и Лодченко, делающих одно дело, но чтобы среди них Пташлин? Коробов рисовал современность, в основном, индустриальные витражи, густые потоки машин, заводские корпуса, стойбища строительных кранов — словно колонии жирафов на водопое; как на картинах Мейсонье не встретишь женщин, так на его картинах трудно было обнаружить живую душу; могло показаться, что художник-технократ сверх головы равнодушен к человеку, но нет: в жизни он был компанейский человек с весёлыми глазами и весёлой душой, легко сходился с людьми, свою музу посвящая прогрессу. Василий Васильевич Лодченко, напротив, рисовал древность — страшные поля сеч, суровые неисчислимые рати, причём все воины, сколько ни было их, за исключением известных воевод, и крупным и мелким планом были словно бы одно лицо; может, этим утверждалась мысль об их горестной безымянности, неразличимости в потоке времени, трагическом уделе простого смертного. Пташлин ничего, в сущности, не рисовал — ни современность, ни древность, но бодро толковал и современность и древность, повсюду успевал, всё знал, везде порхал, «летай-кобчик», «пташка, выпорхнувшая из ниоткуда», как однажды объяснял Пташлину пташлинскую суть Василий Васильевич. Искусствовед не знал покоя, всегда боролся, выступал, ополчался. Никогда было не узнать, что он похвалит, что поругает. Не раз случалось: то, что ещё вчера он хвалил как последнее и великое слово в живописи, сегодня изничтожал, изругивал, испепелял. И передвиж-

ники ему — не так, и импрессионисты — не так. А «так» — Пикассо. Он, как хоругвью, размахивал репродукцией с картины Пикассо — женщина, чудовищно, произвольно и жестоко изломанная. Лукьянов даже в пору молодости, не избежавшей модернистских, авангардистских влечений, всегда удивлялся — что сделал Мастер с прекрасным женским лицом? Была обаятельная женщина, умевшая радоваться солнцу, реке, детскому голосу, и вдруг — приговор ей: излом и перелом, конструкция-казнь, приговор самому прекрасному в природе, ибо что может быть прекрасней, чем женское лицо и женская грудь? Разъятый мир, перейдённая черта, прыжок в темь, сотворение ада. Но Пташлин, как знамя, носил при себе, в чемоданчике-дипломате, дюжину репродукций «развинченных» женщин, так же, как неизменно носил при себе свою статью из журнала «Искусство», которая, он уверял, — лучшее, что опубликовал журнал.

Или жизнь, или неподлинность дарований заставляла их троих ехать если не вместе, то во всяком случае, в одном направлении? «Двое нарисуют. Третий сначала похвалит, потом пожурит, все вместе получают гонорар и арендуют какой-нибудь банкетный залик, — с неприязнью вдруг подумал Лукьянов. — Всё идёт к лучшему в этом лучшем из миров».

28

Он взялся за кисть, но после немногих мазков почувствовал, что кисть не слушается его рук и глаз, и он отложил холст. Зато нахлынули воспоминания о том, как он начинал.

Было невнятное детское желание передать в красках, на листе, на холсте малиновый пламень закатного неба, зелёный лес у белой горы, бирюзовое свечение донской воды. Он хотел, чтоб вечно были малиновый закат, бирюзовая вода, зелёный лес. Но закат мерк, становился серым, стаивал в темь; бирюзовая вода — едва нагоняло тучу — взрыбливалась хмурыми пепельными барашками, а зелёный лес — наступал час осени — тоскливел, обнажая серые стволы и ветви.

И однорукий художник, что с Полынь-горы тщательно вырисовывал задонские дали, представлялся мальчику именно тем чародеем, что своей кистью останавливал прекрасный миг: на холсте взростал зелёный лес, текла синяя река, малиново вздымалось небо.

Теперь по давности не сказать, как он рисовал, — может, посредственно, может, и хорошо, — но для Алёши он был как сказочный пришелец, владеющий тайной и властью; впрочем, не только однорукий живописец, всякий, причастный к кисти, был в глазах Алёши как небожитель.

А охотников до кисти, часто не бескорыстных, в те дни было

немало; наезжали в слободу лихие доки набивать масляной краской на одеялах и скатертях райских птиц на райском древе с райскими яблочками. Некто Лебедь, вертлявый, кучерявый лихописец-офеня, примчался на моторной лодке из областного города, на ходу рисовал и шибко торговал полотнами с белыми длинношеими лебедями и зелёноглазыми длиннохвостыми русалками; и многие, уставшие от чёрной и серой красок войны, покупали дива заморские, отказывая себе в последнем.

Ещё один «передвижник» припожаловал на велосипеде с моторчиком, от которого исходил чад и стукотень; загорелый, бородатый, но не старый, в белой, вернее, серой от пыли парусиновой куртке, с этюдником за спиной; шебутной, как вскоре выяснилось, парень; Алёша присутствовал при «первом дне творения»: живописец открыл этюдник, громогласно пообещал не сойти с Польшь-горы, пока не увековечит всех и вся по округе; в этюднике помимо холста и красок нашлась бутылка вина, которой оказалось явно недостаточно, и уже через час кто-то из новоявленных дружков живописца помчался в лавку. Но навсегда остался признателен Лукьянов неизвестному «передвижнику»: видно, тот что-то почуял в мальчике, заметил в его глазах тихий восторг... и к вечеру с прибаутками и хмельными пожеланиями передал этюдник мальчику.

А до этюдника была коробка с цветными карандашами, на коробке — воин со щитом и копьём, гладиатор. Раб. Самый свободный из свободных. Позже Алексей прочитает о нём книгу итальянского писателя, образ откроется, гордый и сильный, но не потеряет своей загадочности и, странный удел, в трудные часы будет укреплять его мужество.

Рисовал он запойно, часами кряду, а когда точил-остругивал карандаши, ему казалось, что вместе с убывающими стержнями укорачивается и его жизнь.

Воспоминания воспоминаниями, но надо было ехать в Городок, звонить жене; ехать машиной Лукьянов не решился, подумав, что на переправе опять случится какая-нибудь заминка. Моторной лодкой, посчитал, вернее и спокойней, да и давно он не добирался речным путём. Кто-нибудь на пристани окажется, подвезёт.

Не дойдя до берега, он услышал приближающийся гул моторной лодки. Лодка причалила, сошла молодая пара, незнакомая художнику, а вслед спрыгнул и Очередко, мокрый от брызг, улыбающийся, под хмельком. Перебросились несколькими словами, и мотор ожил вновь, лодка развернулась по тугой кривой.

Давно пути их разошлись, но дни ранней дружбы, детские игры на хуторе, первые рисунки в школе тёплыми огоньками мерцали, видать, в душе обоих. Да и в юности... Очередко тоже был увлечён Олей, но характер его был лёгкий, и, когда полу-

чил отказ, он не озлился, не изменился в открытом и дружески-ровном чувстве и к Ольге, и к Алексею.

— А я уже по второму кругу, — пересиливая гул, крикнул лодочник, — невестку Плужниковых в больницу отвозил. Рожать ей... — Вслед ещё крикнул: — И Меловатскую!

На миг было — как резкий перепад давления. Художник махнул рукой, прося приглушить мотор. Когда гул оборванно стих, спросил:

— Меловатскую? Она что ж, уехала?

— Уехала, — подтвердил Очередко, не догадываясь, что у Лукьянова на душе.

— И куда же?

— Наверное, в Одессу. Мы толком не поговорили.

— Поворачивай!

Над их головами пророкотало, Алексей кинул взгляд вверх: полнеба застилала чернильная туча. Остро сверкнуло, прогреготала ранняя в этом году гроза.

29

Скоро он был на полпути к городу. Он словно бы слился с машиной, гоня её на предельной скорости; едва касаясь асфальта, она словно готовилась взлететь; он не был водителем-экстремистом, гонщиком за тенью, но на этот раз обгонял множество машин, извилистой нитью прошивая ровноразмеренный поток; он почти не работал тормозами, только рулём. Лишь однажды пришлось до пешей скорости пригасить взнузданную, гоночную скорость «Жигулей» — когда он миновал затор, образованный ещё дымящейся аварией; он увидел скомканые, его же цвета «Жигули», у обочины — плюшевого медведя. Но и после увиденного скорости не снизил. Сказать бы: безумство молодости! Но было безумство немолодости, куда же он? Минуя город, окружной дорогой он вылетел на прямую стрелку к аэропорту.

...И вдруг протрезвел, поспокойнел, увидел всё вокруг так, как оно есть. Будто пелена упала с глаз, будто неожиданное затмение солнца кончилось, жёлтый сон прервался. Самолёт, бравший над полем тяжёлый косой взлёт, мог быть и не одесским. Возможно, Ольга собралась лететь и вовсе не одесским, а московским. Возможно, она ещё не улетела и ещё здесь — в многолюдном, сотрясаемом гулами и голосами стеклянном ящике аэровокзала; это уже мало что значило... как бы там ни было, она уже вне досягаемости его души; и он — тоже? Но что это были за дни? Миф, призрак давней любви, тяжёлый всплеск страсти при не первой молодости?

Или, может, она явилась ему как напоминание о страшном июле войны? Он на мгновение ухватился за эту мысль, но не дал себя успокоить ею, отбросил её резко.

«Очисти свой разум от лицемерия». И душу — тоже.

Он усмехнулся, подумав, что теряет то, что давно уже потерял.

«А есть покой и воля!» Пожалуй, он спокоен. Может, чуть-чуть и принуждал себя быть спокойным. С четверть часа, откинувшись на сиденье, он разглядывал аэровокзал, но из машины так и не вышел.

Когда Лукьянов возвращался назад, он уже не спешил. Нетопустная дума о Меловатской исподволь отступала, перемежаясь с другими думами, подобно тому, как в окне вагона, ещё не взявшего разбег, проплывают, перемежаясь, картины природы, человеческих труда и суеты.

На этот раз он ехал через город, и неожиданно для себя вдруг обнаружил, что соскучился по нему, что этих деловито снующих улиц, шелеста троллейбусов, зелёных искр под трамвайной дугой ему недостаёт, — не так, разумеется, как Полыньгоры или Осокоревого круга, но всё же недостаёт; разумеется, нельзя сидеть на двух стульях сразу, разумеется, нельзя обнять душу — с одинаковой силой любви — и деревню, и город, но во всяком случае, любя одно, Лукьянов никогда не испытывал неприязни к другому.

Город был немолод, хотя и не столь древен, чтобы уже самую древность выставлять как добродетель. Двукорневое имя его звучало поэтично, хотя и не без жёсткости: заключалась в нём некая тревога, память о порубежных заревах, враждебной орде, рыскающих ордынцах, вороньем грае, Диком поле, «дочерна копытами битом».

На спуске к реке, у многошумного перекрёстка, Лукьянов остановился. Подойдя к лотку с газированной водой, он попросил стакан, выпил залпом; передохнув, почувствовал, как устал. Можно было завернуть в близкую мастерскую, хотя бы час отдохнуть на диване, смежив глаза или разглядывая на стене этюды о родной слободе, — так он поступал прежде не раз, и усталость всегда стаивала; можно было поехать и вовсе в семью, в дом. Нет, в дом он не поедет; это было бы ложью, не затем он сломя голову мчался сюда.

Под старым вязом дежурил телефон-автомат, из стекла и железа будка, громоздкая, как батискаф. Художник набрал привычный номер, на другом конце сразу подняли трубку.

Услышав Ирин голос, он обрадовался, как радовался лишь в раннем детстве голосу матери в ночной тьме; будто он не мог слышать этот голос вчера, позавчера!

— Ира, здравствуй!

— Алёш, что ж ты так долго?

В Ире всегда жило две Иры, в её голосе — два голоса: или холодный, недоступный, или же чуткий, хрупкий, взывающий о помощи, — в зависимости от её настроения и от обстоя-

тельств; на этот раз голос в трубке — сама незащитность, боль; всегда слыша такой голос, он готов был взять на себя все муки, лишь бы не мучилась она.

— Что ж ты так долго? Ты скоро приедешь? Ты откуда звонишь?

— Отсюда!

— Откуда отсюда?

— После объясню, хорошо? Дома ничего не стряслось?

— А что должно было стрястись? — Вот уже и нотки иного голоса — отчуждённого, преграждающего. Ну и чутьё! Бывало, она догадывалась даже о том, что ещё не произошло, а здесь... Что ж, ничего не объяснить, ничего не вернуть — ни одного прожитого дня с его правдами и неправдами.

30

Через два часа он уже был на Полынь-горе. Настаивались подлунные сумерки. Белый свет отдавали чистому вечеру исцветающие сады. Слобода, река, остров, леса и поля — Лукьянов подумал вдруг, что он смотрит на них совсем не так, как в молодости, а с неизвестной прежде печалью; где-то в глубине сознания он будто подводил итоги, спрашивал, сколько ему ещё отпущено — видеть родное? В нём, нарастая, гудел гул пережитого — странный гул. Так бывало в детстве, в весенний вечерний час полая вода поднималась вровень с берегом и на какое-то время словно замирала, а затем, перевалив через закраины левого берега, с шумом, нарастающим, как дождь, как водопад, яростно, потопно устремлялась в лес.

И остро Алексею захотелось вдруг, чтобы всё на его родине было, как в детстве: детишки в луговых лозах куролесят, вечерние красивые девчата голосистыми голосами выводят песни, кони пасутся на лугу. Как в детстве? Всё — как в прошлом? Он, трезвея, увидел, как хиреют колоски под страшными послевоенными палами, увидел Кольку и Машу Очередко, испушенных от похлёбки из лебеды, увидел прыщеватого Сычан-Катыча, уводящего в терновник мать Крайковых.

Тихо течёт Дон, тихо осыпают цвет старые яблони, тихо гонят соки молодые неокори. Но вдруг под горой тишину взрывает магнитофон. Невразумительное, разноязыко-крикливое, чуждое его памяти.

Этот магнитофонный ор... — поморщился художник — в нём голоса напористых, всюду поспевающих, в микрофон ли, на холсте или на книжной странице, возглашающих о своей искренности, ненависти и любви... будто мировая трещина легла и через их сердца, будто пуля, выпущенная в годы войны, прошла навывлет и через их грудь; да полно, успокойтесь, златоусты, — с горечью подумал Лукьянов, — не тронет вашу

грудь та пуля: она прицельно завершила свой чёрный лёт, и брат Борис свёз убитого к братской могиле.

На реке, у правого донского берега — бакенный огонёк. А на берегу — черёмушник... «Жди меня, Люба!» Хотя бы малую толику своих встреч, своего счастья — им, внешней водой прибитым к корневищам пахучего черёмушника. На вечеринке, за бутылкой вина, в ресторанном гвалте или на цветотравной, пусть и без земляники, но вечно земляничной поляне он не раз слышал беспронигрышно-поучительную «мудрость»: грехи в молодости — будет о чём порадеть в старости; и часто — будто память и была его жизненный жребий — видел солнечный день, кусты черёмух, убитого — почти отрока, которому ни грешить, ни в святых не ходить, и криком кричащее его неотправленное письмо: «Дождись меня, Люба!»

За Доном, на холме-крутобережье, горел, напротив бакенного, ещё один огонёк — в избе лесника; так случилось, что Алексей ни разу не побывал в лесниковой избе, и, может, от этого она привиделась сейчас как тайна, которую уже поздно раскрывать. Домик выходил на реку одним-единственным окошком, светилось оно едва-едва...

31

Утром зашёл Щербань. Отдал Лукьянову письмо. «Ольга просила передать», — сказал устало.

Алексей вскрыл конверт и вынул... вчетверо сложенный чистый лист. Можно читать между строк, но что можно было прочесть здесь, на чистом белом листе? Просьбу-заклинание всё забыть? Или, напротив, — всё помнить? «Прости»? «Спасибо»? Или упрёк? Или надеющийся намёк, что они начнут новую жизнь в третьем или каком-нибудь тридцать третьем тысячелетии? Она была внимающей ему ученицей, когда он в молодости посвящал её в учения, согласно которым одни и те же люди — из-за ограниченности запаса вселенской материи — могут повториться через долгие века, а раз так, почему бы и им не повториться и не встретиться вновь?

Щербань, тяжело вздохнув, тихо спросил:

— Ты ещё ничего не знаешь?

— А что? Что случилось?

— Веру Николаевну в больницу увезли. Сердце, — глухо проговорил.

32

Всё так же взмывает жаворонок над полем, как и в дни его молодости, и в дни молодости Веры Николаевны.

Видно, тяжело ей дался поминный день, устало сердце, не устававшее прежде ждать.

Лукьянов, очнувшись, обнаружил, как далеко он забрёл: он стоял у родника, где днём назад были они с Загуменным; медленно, как после болезни, приходил он в себя. Поле открывалось ему знакомой сызмальства ширью, забирало давним. Сколько молодых женщин, а потом вдов подбирало на этом поле хлеба, а потом — убитых, и вновь — хлеба. Опять он вспомнил давний весенний день, цветущий боярышник над мокрым окопом, заржавелый лемех, вспомнил, как бежал с поля Петька Палий, крича беспamięтно: «Убило!»; вновь слышал он этот крик, вновь видел тоской и страхом объятые глаза матери.

Всё это: зимнее поле с погибшими, летнее поле с вдовами-женницами, заржавелый лемех, древний родник, молодой ячмень под дождём, жизнь или смерть — необъяснимо соединились в нём в долгую цепь, которую надо было выдернуть из пучины хаоса. Иначе, мнилось ему, повторится жестокое, чужое, внемеловечное.

Он никогда так яро и счастливо не рисовал. Или на короткие часы и ему была дана та одержимость, при которой жизни не жаль, лишь бы мёртвая краска, безжизненная, обернулась жизнью на холсте? На одном дыхании он нарисовал портрет вдовы. У него хранилась фотография её, молодой; но, может, большим, нежели фотография, подспорьем послужила ему память о ней — из давних, ещё детских времён. Портрет — прекрасное молодое лицо, глаза чистой, верной и гордой (без гордыни) женщины, какую она была, какую он знал её и всегда хотел знать; может, здесь и отблеск романтического, попытка идеального; однако и правда здесь. Но почему же лишь теперь ему удалось? Неужели всегда так: только теряя человека, до конца осознаешь, что он значил для тебя?

Почти завершил он и «Поляну весеннюю», — как не раз думал бессонными ночами, — цветущие яблони, обелиск, ребёнок смеётся и... тёмный мокричный угол.

33

На выезде из слободы они встретились. Один — в Поляну, другой — из Поляны.

— Уезжаешь? — спросил Загуменный. — Надолго?

— Ненадолго, — ответил Лукьянов. — Скоро вернусь. Постоянно думать о Поляне, а жить на расстоянии... не годится так. Как на двух стульях сидишь. Вернись! Будем вместе бороться за выпускников, за Поляну, а?

От Пристенной улицы, не разбирая дороги, к ним молодо бежал Очередко, в руке, будто копьё, держа весло; за несколько шагов вместо приветствия крикнул:

— У Плужниковых двойня родилась! Мальчик и девочка!

Лукьянов улыбнулся, глядя на бескорыстного своего друга из детства, вечного перевозчика, принёсшего весть о воскрешении Поляны, — тот глуповато и замечательно улыбался, будто он новорождённым близнецам был за родного.

— Вот и ещё в нашем полку прибыло! — бодро воскликнул Загуменный.

И все трое рассмеялись.

Не удержался, заехал на Монастырскую гору. Думал — на миг, но пробыл долго. Стоял, как в детстве, как в юности, как тысячу лет спустя, на самом гребне кручи и хмелел от воздуха и простора, от жутковатой мысли, что ему дано было счастье родиться здесь, а могло бы и не быть — и не родился бы, и не видел бы. Зелёный, синий, белый простор нигде не начинался и не кончался... Горизонт был призрак. Видна была загоризонтная даль. По круче реял ветер. Высокая трава бежала под ветром — цветным!

Снова прошлое брало над ним власть. Будто вновь он возвращался в ранние свои годы.

Эти зелёные полоски на гребне кручи — реликтовые сосны, о судьбе которых рассказал ему в детстве учитель; вот уже и выржавели осколки, ранившие их. А сосны по-прежнему стоят на меловых кручах, и белая пыль на их иглах — седина. И эта пойма, неоглядный причудливый луг — отрада его детских скитаний. Не только отрада: пойменный луг после войны не раз прорастал кустами взрывов, когда его распахивали, сзади кабины гусеничного трактора, защищённой броневым листом, под лемехами нет-нет да и вздымались сизые облачки, последняя в окрестностях Поляны мина взорвалась на лугу.

Сюда три лета подряд приезжала сапёрная команда. Заилённые, песками засыпанные мины извлекали из земли и бережно, как спящих змей, укладывали в кузова машины и везли к дальнему глухому оврагу; на Полынь-горе сигнальщик перед взрывом размахивал красным флажком.

А поле с его холмами и логами, песней жаворонка и телеграфными столбами — никогда не исходимое поле: он всегда будет здесь, даже находясь вдалеке.

Поле и луг, древние сосны и молодые травы, просёлок и песня жаворонка, — всё вновь обретало в душе художника соразмерность, смысл и надежду.

Но по привычке к рефлексии — судить каждый свой шаг — промелькнуло в нём: что он сумел в этом мире? Вспахал пойменный луг? Нарисовал сто картин, каждая из которых — беглая приблизительность, немочная попытка сказать о природе нечто такое, что она сама сказала в первый День Творения?

Нет, никогда ему не изобразить сполна тот страшный июльский день, сколько бы он ни смешивал краски, давая картине то огненный, то чёрный фон; быть может, он и найдёт подхо-

дящую тональность, резкие и точные краски, но ими ли передать леденящий гул расстрела, человеческий крик, горе и гибель?

И всё же, понимал он, никогда и никуда от этого он не уйдёт. Тогда, маленький, он выбрался из Крутого лога, но что-то в нём, это он чувствовал постоянно, осталось там. Что ж, он знал, так и будет жить в нём Поляна в час беды и в час радости, соединяя прошлое и настоящее.